

**Владимир
МАЗАЕВ**

ЗИМУ ПЕРЕЖИТЬ

Повесть



1

«ТЕБЯ ЖЕ НЕ УБЬЮТ?»

Когда Баздырев с Нюской на руках вышел из подъезда, а тётя Галя, за ней тётя Каля, Шурка и я с вещами – следом, во дворе уже собрался почти весь наш 12-квартирный коммунальный дом.

Стояли молча, смотрели с серьёзными лицами.

Баздырев так растерялся (он хотел уйти тихо, ему *рекомендовалось* уйти тихо, не привлекая излишнего внимания), что опустил Нюску на землю и стал пожимать руки всем подряд – и взрослым, и детям, бормоча: «До свиданья, товарищи... простите, товарищи... до скорого...»

Он будто извинялся, что уезжает не как принято, как уезжали до него мужики первых призывов – с шумным, крикливым застольем, с атмосферой лёгкой бесшабашности, бодряческих выкриков подвыпивших гостей и шествиями толпы родичей и знакомых до самого эшелона.

Он и мне заодно, обойдя всех по кругу, подал руку, сказав «до свиданья, товарищи».

Дед Иван Анисимыч, который уже лет пятнадцать пребывал на пенсии и, несмотря на это,

был самым информированным во всем дворе человеком, сказал, задержав ладонь Баздырева в своей:

– Не торопись, парень, все равно раньше темноты не тронетесь – знаю. Попрошайся с людьми как следует.

А бабушка моя, звали её Наталья Демидовна, едва Баздырев приблизился к ней, поднялась с табуретки, мелко и часто перекрестила его. Тот нахмурился, она проговорила:

– Ничего, сынок, не помешает, езжай с Богом.

Привокзальный район Кузнецка, именуемый Садгородом, отличался стойким постоянством многолюдья. Центром его была маленькая рыночная площадь, обставленная торговыми ларьками, магазинами, баней и парикмахерской, бревенчатым под жестяной крышей зданием милиции.

Здесь же на углу высилась будочка водоразборной колонки, из неё брали воду по талончикам жители чуть ли не всего района – зимой в бочонки на санках, летом в ведра на коромысле. Копейка ведро.

Дом стоял на косогоре, откуда отчётливо просматривалась вся индустриальная панорама города. Внизу, сразу за площадью, станция с за-

МАЗАЕВ Владимир Михайлович родился в 1933 году в селе Васильчуки Алтайского края. Прозаик. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Автор более 20 книг прозы. Печатался в журналах: «Звезда», «Москва», «Наш современник», «Сибирские огни», «Советская литература» (на чешском языке, г. Прага), «Огни Кузбасса». Участвовал в сборниках: «Рассказы. Молодая проза Сибири» (Новосибирск, 1968), «Сибирский рассказ» (Новосибирск), «Смотрю в твои глаза» (Кемерово, 1997), «Категория жизни» (Москва, 1985), «Набат сердца» (Москва, 1988), «Рабочий характер» (Пермь, 1987), «Зов» (София, 1979), «Сибирский рассказ» (Будапешт, 1980), «Белые города» (Мюнхен, 1991), «Венок славы», «Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне» в 12 томах (Москва, 1984).

Член Союза писателей России. Живет в г. Кемерово.

мысловатыми блестящими переплетениями путей, за ней кирпичные кварталы проспекта Энтузиастов, далее – деревянные приплюснутые бараки так называемой Нижней колонии.

И уже вдали, по-над горой, клубящийся ослепительно-белым паром и дымами всех цветов радуги Кузнецкий металлургический комбинат.

Весь день калило солнце, а сейчас, к вечеру, небо заволкло мглой, и над городом колыхалась предгрозовая августовская духота.

Шли на станцию тем же порядком: впереди Баздырев с Нюской на руках, сбоку его жена тётя Галя, нервная, угловато-худая, в зелёной обвисяющей кофте, потом, чуть поотстав, могучая в бёдрах тётя Каля – в руках холстинная сумка с провизией и железный потёртый сундук с инструментом, а там уж хвостиком мы с Шуркой. Тащили за две лямки вещмешок. Шурка к тому же держал под мышкой отцовский рабочий бушлат, туго перетянутый алюминиевой проволокой.

«Для чего бушлат, – думал я, – если человеку выдадут военную форму, шинель? И главное – зачем, ёлки-моталки, инструменты? Смешно даже: туда с инструментами!»

На станции никакого эшелона не оказалось, всё выглядело как обычно. Стояли вагоны с лесом и гравием, маневровый толкал вперед-назад десяток кособоких углярок, единственная посадочная платформа вообще пустовала.

Однако взрослых это нисколько не озадачило. Все вслед за Баздыревым свернули, пошли вдоль рельсов, мимо плаката «По путям ходить строго воспрещается», мимо глухих складов с высокими погрузочными верандами и старых ободранных вагонов в заросших пыльным вонючим бурьяном тупиках.

Так, по шпалам, мы и подошли к массивному зданию – кирпичные выщербленные стены, овальная крыша, острый запах угольной золы и мазута – паровозное депо.

Здесь до вчерашнего дня работал Баздырев. Мы с Шуркой раза три заглядывали сюда – посмотреть, как поворачивают на поворотном кругу громадину-паровоз, но сейчас-то зачем Баздырев сюда?

Ага, наверное, хочет со своими попрощаться, сослуживцами.

На площадке, поодаль от входа, топтались люди, их было немного, – тоже, судя по всему, провожающие: больше женщины, пацанва. Баздырев вскинул вещмешок за спину, взял сундук,

сумку с провизией, скрученный куклой бушлат и, не прощаясь, не оглядываясь даже, зашагал в широкие, густо закопчённые сверху ворота депо, где стоял охранник с винтовкой.

Прежде никакого охранника здесь не было, я это знал отлично.

– Мамк! – буркнул Шурка. – А чё это он ушел, зачем?

– Значит, надо.

– Зачем надо-то? Он вернётся?

– Вернётся, отстань, – отмахнулась мать, глядя вслед мужу, вытирая уголком косынки глаза.

Прошло довольно много времени, вполне достаточно, чтобы обойти всё депо из конца в конец. Баздырев не появлялся.

Людей на площадке прибавилось. Они тоже чего-то ждали. Кое-кто, уморённый ожиданием, уселся на штабель шпал, подстелив лист лопуха, сорванный тут же под забором, а кто – прямо на рельсы.

Духота не отходила, сумерки сгущались, стали зажигаться огни. Далеко глухо прогрехотал гром. Нюська раскапризничалась, тётя Галя сняла кофту, ушла к забору и села там, взяв девочку на колени и укрыв кофтой; та вскоре затихла – уснула.

Шурка и я мучились разочарованием.

Прибегая на вокзал, мы уже видели, как провожают на фронт эшелоны. Это были проводы! Оркестр, куча народа, речи с трибуны, ну и слёзы, конечно. Здесь же – ничего похожего. А только группка ожидающих людей, отдалённое звяканье железа, пульсирующие вздохи проходящих по главной ветке поездов.

И куда ещё предстоит тащиться, когда вернётся Баздырев и другие мужчины, ушедшие в темный проем деповских охраняемых ворот?

Далеко на западе страны, за тысячи километров, вот уже больше двух месяцев громыла война.

Её таинственно-тревожные отзвуки доносили сюда лишь репродукторы, газеты с уменьшенным до тетрадного листка форматом страниц да торопливые листы агитплакатов на привокзальной площади.

Других реальных признаков мы, мальчишки, не замечали.

Правда, неделю назад, после того как в газетах появилось сообщение о воздушных налётах на Москву, окна раймилиции и парикмахерской

на рыночной площади засветились вдруг крестами бумажных лент. Но эта инициатива не была подхвачена. Должно быть, власти в конце концов сообразили: долететь сюда, в сибирскую глубинку, фашистскому самолёту немислимо. И теперь милиция и парикмахерская одиноко и тревожно тарачились на прохожих пугающе-белыми перекрестьями своих окон.

И еще: была в эти дни учебная тревога по светомаскировке города.

Мы видели с крутизны своей горки, как враз погрузились улицы, далекие многоэтажные кварталы во тьму. Даже жутковато стало! Зато Кузнецкий комбинат, на километры растянувшийся под холмистой Старцевой гривой, продолжал своим чередом выплавку чугуна, разливку стали, разгрузку коксовых батарей. А на шлакоотвале невдали из вагонов-ковшей не переставали литься яростно водопады расплавленного шлака, оплескивая густым багровым заревом полнеба. Эти процессы, увы, неостановимы. И попытки замаскировать город и комбинат от ночного воздушного врага на том и кончились.

Только через полтора месяца прибудет первый эшелон, гружённый оборудованием машиностроительного завода из Донбасса, к которому уже приближалась линия фронта. А к началу зимы — поезда с эвакуированными людьми. Одеты беженцы будут легко, не по-сибирски, скарб в узлах и чемоданах вздыбит вокзальную площадь.

Так начнётся и продолжится с небольшими перерывами в течение первой зимы великая драма *расселения*. И молодой город, не имевший и метра свободного жилья, лишнего полена дров, примет, с мучительными усилиями рассредоточит и приютит тысячи и тысячи семей.

Под жильё пойдут чердаки и подвалы, старые вагоны, давно предназначенные под снос ветхие бараки времен строительства комбината. А кому и такого жилья не хватит, выроят в косогорах землянки.

Потянутся санитарные поезда, переполненные ранеными, большая часть школ, Дом культуры металлургов, единственная гостиница станут госпиталями. Школьников сперва переведут на трёхсменные занятия, а позже — на занятия через день.

Переполненный город войдёт в изнурительно-жесткий режим военного времени.

До конца войны будут изъяты домашние радиоприемники, погаснут рекламные огни (кроме аптечных), уличное освещение. Продукты — по

карточкам, топливо — уголь, дрова, керосин — строго по талонам. В целях экономии бензина прекратится эксплуатация легковых автомобилей — за исключением двух десятков, принадлежащих горкому, госбанку, металлургическому комбинату, военному училищу.

С остальных просто снимут номера.

Кузнецк будет объявлен режимным городом первой категории, что ввергнет массу обездоленных, выгнанных войной из родных мест людей в новые неожиданные и безмерные страдания.

И уже где-то в начале весны, в пронзительно-солнечные дни апреля сорок второго года, на скрапной двор комбината прикатят платформы, неся невиданный ещё в здешних краях груз: обугленные термитным огнём танки, смятые, в пятнах зимнего камуфляжа автомашины, с разорванными стволами пушки, золотящиеся груды снарядных гильз и вообще бесформенные куски истерзанного чудовищной силой железа — первое вещественное эхо с полей недавно отгремевшей Подмосковной битвы.

Первой победной битвы войны.

И на скрапном дворе комбината зашипят автогены, бешено застучат пневматические молоты, кромсая, расплющивая, превращая в лом винтовочные и автоматные стволы, лишая жуткого соблазна окрестных мальчишек.

Но всё это будет потом, значительно позже, а пока...

Пока же Шурка и я уныло сидели под деповским *занюханным* забором, томясь в вечерней духоте, торжеством и не пахло, и Шурка явно испытывал неловкость передо мной, своим другом, точно был виновником всей этой *резины*.

Вдруг те, кто сидел и стоял в ожидании ближе к деповским воротам, повскакивали, зашевелились.

Как по команде отхлынули от рельсового полотна.

В тёмной, таинственно подсвеченной внутренними огнями глубине здания со стеной сплошь из мелких, жирно запылённых стёкол раздался шум, лязг, длинное шипение.

Выбежал какой-то человек в замасленной до блеска спецовке, замахал панически руками, пятясь.

Словно по его жесту, заполняя весь овал ворот, поползло из подсвеченной глубины что-то

тяжёлое, угловатое, коробчатое, со свистом выдувало белые усы, дымило короткой трубой.

Оказалось – заваренный наглухо в панцирь серо-зеленых плит локомотив. Были видны грубые рубчатые швы сварки; грузные противовесы медленно крутящихся колес то появлялись под нижним срезом плит, то исчезали.

Потянулись следом приземистые коробки вагонов: один, второй, третий; потом – платформа. В бортовых скосах – тупые чёрные щели бойниц, люки отброшены.

Над высокими стальными бортами платформы – зачехлённые стволы пушек.

Мы, оторопев, вскочили, глядя во все глаза, застыли с открытыми ртами. Вот это да-а! Ёлкин пень! Бронепоезд!..

Из депо толпой повалили рабочие – в расстёгнутых куртках, спецовках, кто в рубаше с закатанными рукавами, кто вообще в майке. Шли рядом с тихо катящимися вагонами, вровень с ними, задирали чумазные лица, будто сами удивлялись делу рук своих, возбужденно переговаривались.

На ступеньке первого броневагона стоял, ухвачаясь за железный поручень, военный с петлицами старшего лейтенанта, напряжённо, взволнованно улыбался.

Поезд, попрыгивая часто трубой, как астма-тик, перестал катиться, со скрипом замер. Люди придвинулись к нему, заклацали массивные двери; члены экипажа – ещё в своей одежде – стали спрыгивать на землю, смешиваясь с провожающими.

От неожиданности увиденного, от неправдоподобной близости бронированной махины – этой ожившей внезапно легенды гражданской войны – у меня холодела в мурашках спина.

Вспыхнул на деповской мачте прожектор, косо высветил в слабых сумерках толпу, переломились тени, мокро заблестели панцири вагонов и локомотива.

Оказывается, шёл уже дождь, но такой мелкий и тёплый, что не ощущался. Замутнели очки, я нечётко всё видел и не заметил, как и откуда появился Баздырев – снова держал на одной руке Ньюську (та спросонья таращила на всё глаза), другой – притиснул к себе за плечи Шурку.

Тётя Галя пыталась накрыть кофтой дочку, одновременно глядя в лицо мужу, что-то быстро, страдальчески говоря ему, что-то наказывая.

Коротко дважды гуднул локомотив, у вагонов нервно задвигались – возгласы, крики прощания,

поцелуи, рядом громко, навзрыд заплакала женщина...

Старший лейтенант скорым шагом шёл вдоль поезда, придерживая у бедра командирскую сумку, требовательно повторял:

– По местам, товарищи! По местам! Мы и так сильно выбились. По местам, быстро!

Баздырев передал Ньюську жене, поцеловав обеих, подбородок его дрожал, обнял тётю Калю (Калерию), потом наклонился к Шурке.

– Ну давай, сын, держись тут, остаёшься за старшего, – сказал он, тиская плечи сына. – Маму с Ньюской береги, понял?

– Это ты там держись! – Шурке хотелось ответить лихо, как бы шуткой, но, должно быть, от волнения прозвучало грубовато, мать ахнула, и тогда он, неловко охватив отца за шею, прижался к нему мокрым от дождя лицом, спросил жалобно: – Ты ведь скоро вернешься? Тебя же не убьют?..

– Конечно, нет! Что ты, сын? Погляди, какую мы себе крепость отгрохали.

– Ага, ага. – Шурка закивал соглашаясь: крепость действительно была что надо. Разве найдется у немцев пуля или даже снаряд, которые смогут пробить эти чуть скошенные мощные плиты, грозно серебрящиеся сейчас в потёках ночного дождя.

Я стоял в стороне, беспрестанно протирал пальцами стёкла, страшно, до горловой спазмы, переживал, что Баздырев так и уйдёт, со мной не попрощается. Кто я такой? Приятель его сына, подумаешь...

Я не мог бы в эти минуты объяснить, почему мне так нужно было, чтобы Баздырев не забыл обо мне.

Звякнула сцепка. Баздырев сделал несколько шагов к поезду, который уже двигался.

И тут только, в последний раз оглянувшись на своих, встретился взглядом со мной, с моими ждущими, отчаявшимися глазами – что-то повзрослому понял.

Круто повернулся, подбежал ко мне, подал руку.

– Ну, Толик, бывай здоров, герой. Дружи с Шуркой. Вы, я вижу, парни правильные.

И мы попрощались с ним крепким, сдержанным, мужским рукопожатием. Это видели все. Потому что бронепоезд двигался быстрее и быстрее, и все переживали за Баздырева – вдруг не успеет?

Но он успел, конечно, легко запрыгнул, отеснив спиной товарищей, и его крутоплечая

осадистая фигура видна была в железной черноте двери – до тех пор, пока у деповского прожектора доставало вдаль света...

Весной сорок третьего мы снова встретимся, но уже без рукопожатия, и оба как бы не заметим этого, ибо атмосфера встречи будет иной, никакой самой злой фантазией не предсказуемой. Да и мы оба будем другие.

И много позже дня проводов, спустя две первых тяжких военных зимы, я попытаюсь вспомнить в подробностях – как прощался Шурка с отцом, слова, которые он говорил, и что отвечал отец, какие при этом были у них глаза, жесты, выражения лиц – и ничего не смогу припомнить, ничего.

Подробности сотрутся, будто смытые последним в то лето тёплым грозовым дождём. Ах, Шурка, Шурка...

2

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ...

Первого сентября, как обычно, начались занятия в нашей школе № 18. Начались они с большой торжественной линейки. Просторный коридор второго этажа, служивший и актовым залом, был набит битком.

Два десятых стояли позади всех одной заметно уменьшившейся шеренгой, почти сплошь девчонки – молчаливо и растерянно теснились друг к дружке.

Выступила директриса, произнесла с пафосом: лучшей нашей помощью фронту будет отличная учёба! За директрисой взял слово военрук. Уроки военного дела вводились во всех классах, начиная с пятого.

В заключение всей линейкой нестройными, напряжёнными голосами – дирижировала певичка – пропели песню «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой», разошлись без обычной весёлой толкотни и гама по классным комнатам.

Мы с Шуркой учились в пятом.

Я был тощенький, похожий, как говорили, на четвероклашку с первой парты, от рождения страдал косоглазием. Восьми лет мне сделали операцию, она была мучительной, прошла не совсем удачно, снять очки врачи не разрешили. Однажды при беготне я расколотил их. Два бесконечных месяца пришлось сидеть дома, пока

мама с бабушкой Натальей Демидовной великими трудами и знакомствами не раздобыли мне новые.

С тех пор я стал для надёжности приматывать очки к ушам суровой ниткой.

Путь в школу лежал через рощу, огороженную дощатым забором. Со стороны дома была дырка, а со стороны школы – законные ворота.

Роща тянулась широкой лентой вдоль склона увала. Деревья старые, стволы у земли в черных иссохших коряжинах. Посреди берёз и осин, на чистом вырубленном пятчке, возвышалась танцплощадка. Летними вечерами здесь вовсю дудел духовой оркестр, горели под жестяными абажурами лампочки.

Прикатывала свою тележку мороженщица, стояла в кольце изнывающей очереди, ловко выдавливая из цилиндрика аппетитные на круглых вафельках кругляши мороженого.

Шум, многолюдье, короткие за спинами взрослых пацаньи потасовки. А после танцев кое-какие пары загадочно удалялись в темноту рощи, и мальчишки, обуреваемые жгучим любопытством, начинали за ними наглую слежку...

Территориально рощей «владели» пацаны из частного сектора, дворы и землянки которого подступали сверху крутым изломанным склоном. Когда-то были здесь каменоломни, добывали абразивы, точильный камень. Район частного сектора теперь так и звался – Точилинским.

Мы с Шуркой старались точилинских не задирать, держали нейтралитет, но когда те нагнали, приходилось созывать своих. До крупной драки, правда, не доходило, ограничивались демонстрацией силы, провокационными выкриками, швырянием камней, угрозами подловить по одному, что иногда и случалось.

Ходили мы в школу всегда вдвоём – так доставалось главном образом Шурке, крепышу, задире, человеку без всяких дипломатических задатков. Меня при этом откидывали в сторону, говоря: «А ты, очкарик, отхли!» (на уличном нашем языке: отвали, сгинь, не мешайся). Я был как бы не в счёт.

Это презрительное великодушие почему-то больно задевало. И пока я дрожащими руками, торопясь, отматывал с ушей очки, прятал в портфель, – точилинские, налетев на Шурку вороньём, уже стремительно разлетались, охлаждённые окриком прохожего.

Шурка, сбитый на землю наглой подножкой, подымался, хмуро обивал о колено шапку.

Можно было ходить не через рощу, а понизу, тракторной дорогой, но, во-первых, это значительно удлиняло путь, во-вторых, было обидно, и самое любимое страдало.

Среди точилинских особенно выделялся своей агрессивностью один – лупоглазый, по прозвищу Мякиш. Он был не по возрасту мордастый.

Ходил Гошка Мякиш в широких штанах с чужого плеча, стянутых ремнём на тощем брюхе в крупные складки, в кепке с оторванной пуговицей-нахлебником. Круглую зиму, от осени до лета, в огромном, простроченном грубой ниткой ватнике, запахнувшись в него полтора раза. Во время драчек и потасовок длиннополый с оборванными застёжками ватник взлётывал лихо за его спиной, точно кавалерийская бурка.

Он имел уже четыре привода в милицию, поэтому его многие сторонились, даже откровенно побаивались: мало ли на что способен человек, имеющий четыре привода!

3

СТРОЙБАТОВЦЫ И ШПИОНЫ

Между одиноко маячившим «на юру» нашим домом и рощей лежал пологим склоном пустырь. Лебеда, лопушник, полынь, жёсткая крапива устилала его густым и пахучим свалывшимся ковром.

В конце двадцатых годов, в пору, когда закладывался Кузнецкий комбинат, вдоль склона прорезана была земляная площадка – для строительства жилья. Однако жилья здесь так и не построили.

В середине сентября на площадке появилась большая группа мужчин – человек сорок, что-то вроде команды.

Одеты непонятно как-то, в защитную форму, но на голове у кого что: кепки, шапки-ушанки, тубетейки, овчинные малахаи. И гимнастёрки – жёваные, с застиранными петлицами (у иных и без петлиц). А на ногах-то, на ногах – вот смехотище, умора – ботинки без обмоток. Да и в самих мужиках незаметно военной выправки, подтянутости, мы-то уже в этом толк знали. Многие в возрасте – на наш взгляд – почти старики. Это были бойцы строительного батальона, а проще – стройбатовцы.

Молча и несуетливо разобрали инструмент – лопаты, ломы, заступы, принялись чистить и расширять старую выемку, рыть котлован.

Работали они от утра до вечера, и от утра до вечера дымился рядом костер, над которым

привязанный за ручки висел закопчённый дочерна бачок.

* * *

Возвращаясь из школы, мы остановились поодаль, смотрели на стройбатовцев. Одни копали землю, другие сгружали с автомашины связки плотницких скоб, доски, короткие брёвна, похожие на шахтовые стойки. Груда этих брёвен-стоек красиво золотилась в остывающих солнечных лучах.

Что же такое тут решили построить?

Шурка не вытерпел, подошел к пожилому дядьке со скуластым тёмным лицом, в потертой выгоревшей ракчинке на стриженной голове – мы решили: казах. Как раз был обеденный перерыв.

Дядька, сгорбившись, сидел прямо на земле, на бушлате грязно-болотного цвета, держал меж коленей котелок с дымящимся варевом.

– Дядь, а дядь, чего это вы тут роете? Для чего?

Казах с полминуты смотрел на Шурку, жевал. Оставил ложку в котелке, вытер рукавом рот – произнес с сильным акцентом:

– А ты – кыто?

– Я-то? – Шурка слегка растерялся. – Ну я... это...

– Нэт! – перебил его казах. – Кыто ты?

– Зовут как, что ли?

– Фх! Ны зовут!

– Ну... мальчик, в школе учусь.

– Нэт, – снова сказал тот, и чёрные в провалах суженные глаза не мигая уставились на Шурку. – Ты ны малчик в шыколе!

– А кто же я? – Шурка пожал непонимающе плечами, попытался усмехнуться, но получилось у него это довольно кисло. Он явно был сбит с толку таким поворотом разговора.

– Ты?

– Ну да, я...

Дядька ткнул толстым корявым пальцем в Шуркину грудь, будто выстрелил:

– Ты – шы-пиён, фх! – и по лицу его, вдруг принявшему свирепое выражение, совсем не было заметно, что он шутит.

У меня, стоявшего чуть позади, отчего-то похолодело в животе. «Бежать надо!» – мелькнуло.

Недавно на привокзальной площади вывесили большие фанерные плакаты с рисунками окон ТАСС. На одном – очень ярко, вырази-

тельно – скрюченный человечек жёлтого цвета с вороватыми стреляющими глазками. Его вытянутое в виде граммофонной трубы ухо направлено в сторону двух беседующих людей. Под плакатом подпись: «Болтун – находка для шпиона!». Плакат произвёл на нас сильное впечатление, хотя непонятно было: чего это шпион жёлтенький?

Я стал ловить себя на том, что, проходя мимо толпы людей, какой-нибудь очереди, пытаюсь угадать: а среди этих есть жёлтенький? Не может быть, чтоб не было! Плакатов зря не рисуют.

Вон тот, в сплюснутой шляпе и с длинной папиросой в зубах (таких в магазине уже не продают), ишь как зыркает по сторонам; или вон, в бушлате, с котомкой за спиной – бородатый. Бороду ведь приклеить запросто. На месте не стоит, так повдоль очереди и шнырит...

– К-какой шпиён... – Шурка, заикнувшись даже, издал робкий блеющий смешок, потоптался с ноги на ногу, слабо махнул пузатым увесистым портфелем. – Мы с ним вон в том доме живём!

Казах внимательно перевёл взгляд на дом вдаль, одиноко окружённый ларями и сарайчиками, холмами погребов, точно сомневаясь в правдивости Шуркиного утверждения, поднял чёрный изогнутый палец:

– Всякий шыпиён живёт в каком-нибудь доме. Ты почэму сы-пра-шиваеш? – Он энергично, гулко хлопнул себя ладонями по ногам, слегка даже подпрыгнув при этом. – Нэт, ты почэму сы-пра-шиваеш?

– Ну, почему... так просто. Интересно, вот и спросил. Вы нашу дорогу в школу вон перекопали, а нам и спросить нельзя... – замямлил Шурка, пятясь от казаха. – Не хотите сказать, так и скажите. Мы чего уж – не понимаем, что такое военная тайна, что ли?

– Вот! Тайна! – с готовностью подхватил казах, будто давно ждал от Шурки этого именно слова. – Понимаеш, а сы-прашиваеш военный человек, фх! Проходы, малчик, ны задэрживай!

Он почесал большим выпуклым, как речная ракушка, ногтем за ухом, губы его в редком, восторженном гребешке усов шевельнула усмешка. Или мне показалось?

Мы немедленно ретировались.

– Ха, военные, а где у них оружие? Лопаты, что ли, оружие? – презрительно разглагольствовал Шурка, когда мы торопливо отошли на достаточное расстояние. Он чувствовал себя не-

ловко за свою, пусть минутную, но робость перед этим стройбатом, хорохорился запоздало. – У нас дома такого оружия в кладовке навалом!

– Нет уж, – возразил я. – Красноармейцы тоже все с лопатками – только лопатки маленькие, к поясу пристёгнуты.

– Но главное-то – винтовка или даже автомат! – кричал Шурка.

– Да не ори ты. И у этих, может, есть. Но пока им тут не надо. Вот твой отец на фронт поехал – тоже без ничего.

Шурка аж привскочил:

– Без ничего? Это цельный бронепоезд – и без ничего?! – Уши его от возмущения стали свекольными. – А ты видел, очкарик, какие у них пушки? А пулемёты торчали!

– Чего обзываешься? Пушки – видел, две штуки. А пулемётов не было.

– А бойницы видел? Из них торчали. Две пушки – это только на виду. А там знаешь внутри столько всего напярятано? Так тебе всё и выставят, шпикам на показ! Держи карман шире!

– Не знаю, – сказал я упрямо. – Я вспомнил, что плохо видел из-за дождя, заливавшего мне очки. Но, кажется, в узких окошках бойниц всё-таки ничего не торчало. Но я не стал спорить, мне с Шуркой не хотелось спорить сейчас. Ещё подумает: завидую.

А я в самом деле завидовал – скрытно, тяжело, почти враждебно. Знал, что это плохо, отвратительно так завидовать, но ничего не мог с собой поделывать.

Эта подлая зависть была сильнее меня.

Если бы мой отец уехал на фронт на бронепоезде, а все бы видели; даже пусть не на грозном бронепоезде, а просто, как другие – эшелонном теплушке; если бы мой отец спал сейчас треугольнички писем (от Баздырева, правда, пришло пока два письма, и те с дороги).

Но я никого из своих близких ещё не провожал на фронт и впредь не буду. Мне некого провожать: в нашей семье остались сплошь невоеннообязанные – бабушка, мама, сестра Тоня и я.

– Слышь, Толян, а я знаю, чего тут собираются строить, – заявил после недолгого молчания Шурка, обернувшись ко мне. Всё-таки загадка эта не давала, видать, ему покоя.

– Ну – чего?

– А вот чего-то! Сообрази сам, пошевели ролликами.

– Дом, наверное? – высказал я первое, что пришло в голову.

– Ха, сам ты дом. Кому это взбредет в войну дома строить?

– Может, штольною новую готовят? – предположил вяло я.

– Ха, сам ты штольня. Её бы в серёдку горы рыли, а не повдоль.

– Да не знаю, чего пристал! – не вытерпел, разозлился я.

Шурка прямо-таки затанцевал от нетерпения.

– А вот не хочешь – объект!

– Ну, – сказал я, – а какой?

– Военный! Какой ещё бывает объект!

Миновав косогор, мы подходили уже к нашему одинокому коммунальному двору.

Шурка уставился на меня круглыми глазами и, не в силах сдержать в себе догадку, выпалил:

– Да бомбоубежище, балда!

Я оторопел, даже остановился.

– Ты, что ли, дурак? – выдавил я. – Почему тогда клеивать отменили?

– Окна-то?.. Ну... окна... – Шурка секунду только искал ответ в своей взбудораженной голове. – Окна клеить, если надо будет, это же раз-два – и в дамки! А вот бомбоубежище раз-два не построишь.

– Ты врешь. Сюда не долетят.

– Конечно, не долетят, кишка тонка, – сказал убеждённо Шурка. – Ну, а вдруг?..

– Да для кого тут бомбоубежище-то? – не сдавался я. – Для одного нашего дома, что ли? Точилинские пока сюда добегут или кто со станции вон – дак бомбёжка кончится.

– Никто не будет бегать, ещё чего не хватало, все будут спокойненько, без паники, приходиться сюда с вечера и здесь бай-бай. Вон как в Москве счас: спят в бомбоубежищах, в метро, разве не знаешь? – резонно заметил Шурка. Он, оказывается, уже всё успел продумать и учесть, вот зануда.

Я оглянулся и уже совсем по-другому, другими глазами посмотрел на вздыбленные рыжие кучи глины вокруг котлована, копошащихся стройбатовцев. Перевёл взгляд на стиснутый внизу в кольце холмистых сопков город.

Дымы металлургического комбината загибались в сторону центра города крутым коромыслом: это всегда предвещало долгую непогоду.

– Ведь три с половиной тыщи, а, Шурк? Разве долетят? Сами с тобой циркулем меряли, – сказал я.

– Это сегодня три с половиной тыщи, а завтра...

– Чего завтра? Чего завтра?! – крикнул я холодея.

– Вот псих ненормальный, чё ты?... – Шурка повернулся, пошёл злым молчком впереди меня по тропинке к дому, перекобоченный тяжёлым, чёрт знает чем набитым портфелем.

4

«ШУТКА НЫ ПОНЫМАЕШ, АЙ-АЙ»

Роца наша поблекла, высветилась, стала тихо опадать. В оголившихся макушках берёз проступили тёмные растрёпанные пятна галочьих и вороньих гнёзд.

Пахло древесным дымом. Мы никак не могли к нему привыкнуть, это был запах тревоги, смутного, неосознанного беспокойства – запах пожара.

По дорожкам, на вытопанных местах пожолклые листья лежали гладким упругим ковром, а на траве, сникшей, но ещё зелёной, молодящейся в последнем предзимнем порыве, они лежали встопорщенно, шевелились под слабым движением воздуха, точно крылья бабочек-лимонниц.

Возвращаясь через рощу из школы, мы взбегали на гулко пустующую танцплощадку, пинали сгрудившуюся по углам листву, кидались пахучими охапками друг в друга. Потом, враз притихшие, словно опомнившиеся, торопились домой. Дома нас ждало много дел, да и есть ужасно хотелось.

Котлован на бурьянном косогоре углублялся, выброшенная земля рыжела глиняными оплывами.

Привезли и сгрузили штабель брёвен. Теперь одни копали, а другие, сидя верхом на бревне, тюкали без усталости топорами, разбрызгивая вокруг белую жирную щепу. Непрерывно чадил закармливаемый щедро этой щепой костёр. Дым, сырой, огрузневший, расплзался, цепляясь за бурьян, просачивался в рощу, запах его держался там до утра.

Теперь мы с Шуркой ходили в школу, далеко огибая «объект» – то выше по косогору, то ниже, ломаясь через сухую, в белых облачках пыльцы лебеду и полынь. Мы больше не пытались вступать в контакт с хмурыми стройбатовцами, очень нужно, мы им не жёлтенькие!

Казак сам однажды окликнул нас, жестом позвал к себе. На этот раз лицо его пестрело рябью морщин, означавших дружелюбную улыбку.

Мы сдержанно, как бы снисходя, остановились в ожидании.

– Дак чего? – грубо бросил Шурка.

– Подойды былиже, боишься, ны укушу.

– И никто не боится... Чего надо?

– Такой маладой, а такой сырыдитый, – сказал казах. – Ны хорошо, фх!

Шурка саркастически ухмыльнулся:

– Мы же шпиёны... Так чего надо? А то уйдём, нам некогда тут.

– Шутка ны понимаеш, ай-ай. – Казах покачал стриженной головой в ракчинке, спросил: – Мама, бабушка-дэдушка – кыто дома есть?

– Ну. А чего? – продолжал бычиться Шурка.

– Ты сыпроси мама, бабушка-дэдушка – может, дома какой рапота есть?

Мы переглянулись.

– Работа?

– Аха, аха. Рапота. Погрыб копать, дарова, дуругой какой всякий...

Чёрные глаза его в складках век стали печальными, и мы, мальчишки, вдруг увидели грубые латки на гимнастёрке, торчащие из обрёманных обшлагов тёмные загорелые запястья, худую обветренную шею...

5

СВОЙ МУЖИК В ДОМЕ

Мама наша работала в военном госпитале кастаняшей, вставала рано, к первому трамваю, а возвращалась вечером по темноте. Трамвай ходил с перебоями, «из рук вон», и всегда набит под завязку, не езда, а наказание, жаловалась мама. Поэтому она частенько совсем не возвращалась – ночевала на работе, спала на мешках приготовленного к стирке белья.

Я не видел её неделями.

– Сестра Тоня была телеграфисткой на станционном телеграфе, это почти рядом, двадцать минут ходьбы, но тоже – работа собачья, полторы смены, а потом ещё дежурство в «отряде охраны революционного порядка» (такие отряды были созданы на многих предприятиях в первые недели войны). Тоня, случалось, «засыпала на ключе», глаза всегда красные от недосыпу, я сильно жалел её.

Так что дома мы хозяйничали вдвоём с бабушкой. У нее хронически болела нога, всегда толсто заматанная то полотенцем, то стареньким детским одеялком. «Моя кукла», – говорила про неё бабушка. Она говорила всегда так, будто

нога жила отдельно от нее, имея свой характер и свои причуды, не совпадающие с бабушкиными. Бывало, хлопнет по ноге ладонью, пожалуется: «Кукла-то моя ночью – ну извела. Положи её на подушку да положи. Да повыше, помягче, изуда дела меня вконец. Пришлось под голова жакетку, а ей, холере, подушку отдать».

Передвигалась бабушка, опираясь на табуретку, иногда даже выходила во двор – подышать. Всякое дело по дому выполняла, сидя на табуретке – готовила обед, мыла посуду, стирала.

Все остальные работы – накалывать из смёрзшейся кучи и приносить уголь для печи, выгребать золу и выносить мусор, выстаивать хлебные очереди – падали на мои плечи.

И когда я передал бабушке просьбу казах, та сказала:

– Какая работа, какие дрова, горе у нас, а не дрова – сам лучше меня знаешь. И потом – он же за это не деньги хочет.

– А чего?

– Думаю, продукты ему нужны, еда, ну – хлеб там, картошка. Где же лишнее? Картошку ещё не копали, а хлеб и без того на день вперед выбираем.

– А у ларя доска отскочила, уголь сыплется, – сказал я.

– Вот и возьми молоток и приколоти, чего ж мы – свой мужик в доме, а доску приколотить – с улицы нанимать будем?

Мне это шибко понравилось – про «своего мужика», но виду не подал, пошёл в кладовку искать молоток.

В Шуркином доме работы тоже не отыскалось. Мать – та просто отмахнулась: отстань, откуда у нас. Сама она сразу после отъезда мужа на фронт устроилась на сортировочную сцепщицей. Работа вагонной сцепщицы была по-мужски тяжелой и грязной, посменной, а в зимнюю пору и опасной, но зато – рабочая карточка первой категории и талоны гортопа на дрова и уголь.

Отмахнуться-то отмахнулась, однако дня через три, растапливая утром плиту, которая нещадно дымила и не желала разгораться, мать в сердцах тарарахнула чугунной дверцей, крикнула Шурке в комнату:

– Ты давечь со стройбатом своим привязывался. Он случаем в печном деле не тумкает? Не печник? А то пусть пришёл бы, поглядел, поисправил чего. – Она опустилась на кухонную скамеечку, всхлипнула в ладони. – Отец соби-

рался летом перекласть, да руки вот не дошли...
Зиму опять замучаемся...

6

В КОЛХОЗ! УРА!

Казах в печном деле «не тумкал», всю свою жизнь прожил в гольной степи, в кочевой юрте скотовода, и русские кирпичные печи видел только издали. Так он примерно и объяснил Шурке.

А ещё через день или два, когда мы пробежали мимо них по пустырю, он подозвал нас и указал на молодого мужчину в сбитой на затылок шапке с кожаным верхом. Тот сидел поодаль на бревне, ловко гнал топором по бревну глубокий жёлоб.

Звали его Василий, был он родом из здешних, из какой-то пригородной деревни, и, как большинство деревенских мужиков, умел многое. В том числе и класть печи.

Только на минуту оставив сноровисто тьюкающий топор, Василий спросил Шурку номер их квартиры и велел передать матери: заглянет в ближайший вечер, как только получит увольнительную.

Но тут в школе было объявлено: завтра в колхоз! Иметь при себе чашку, ложку, тёплую одежду и крепкую обувь — значит, не на один день.

Так оно и вышло. Вернулись домой только на десятые сутки.

Старшие классы рыли картошку, дёргали руками уже перестоявший свой срок лён, а нам, пятиклассникам, досталось собирать пшеничные и ржаные колоски.

Работа — тоже не мёд, муторная, на третий день отламывалась спина, и грубый рогожный мешок с колосками всё чаще выскальзывал из онемевших пальцев. Однако кормили прилично, от пуза, картошка с растительным маслом, ешь сколь влезет, и по кружке молочного обрату. С хлебом, правда, хуже. Да и тоже терпимо: буханка на день на пятерых.

Летом следующего, сорок второго года, когда работали на вязке снопов (норма на школьника — двести снопов в день, опупеть можно, поначалу до локтей руки сдирали — кровь, слёзы), хлеба уже давали буханку на восьмерых, зато кормили овсяной кашей. Каша была хоть и из плохо обрушенного зерна, драла горло, но сытная и с добавочными порциями.

И еще: повезло с погодой. Наступил октябрь, дни стояли сухие, с прозрачным солнцем, ночью

падал иней. Вечерами жгли ботву и в громадных кострах пекли картошку. Потом забивались, закатывались в скользкую солому.

Утром, трясаясь от холода, вставали с чумазыми от печёной картошки руками и физиономиями, умываться ледяной водой из ручья никто не хотел, поэтому к концу работ все превратились в чертей.

Как бы то ни было — уборочную эпопею выдержали с честью. Дезертировали только два семиклассника, им пришлось потом выстаивать перед школьной линейкой пятиминутку позора.

7

МУЖИЧОК ВЕРНУЛСЯ

У меня за время моей уборочной страды дома ничего особенного не произошло. Вот только все мои домашние заботы в эти десять дней легли на сестрёнку Тоню. От ведер с углем и водой, оттягивавших её слабые руки, у неё стал сбиваться на ключе почерк, пошли ошибки, и она получила по службе выговор.

Так что когда она пришла вечером со смены и увидела меня, то обняла мои щуплые плечики, чмокнула в ухо, засмеялась: ну слава богу, мужичок наш вернулся.

Шурка же Баздырев застал у себя следующую картину.

Плита почти до половины разобрана, и все кирпичи, чисто оскобленные, приготовленные для новой кладки, — у стены штабелем.

Дымоход до самого потолка зияет чёрными оголёнными внутренностями. Ключья сажи катаются, подлётывая по грязному, засыпанному извёстью полу.

В квартире холодно, как в погребке.

Нюська, одетая в пальтишко, запеленатая шалью до глаз, сидит на полу возле ведра с глинистым раствором, кормит со щепочки этим раствором куклу.

Остановившемуся столбняком у порога Шурке подумалось тогда: если бы вынести из кухни и единственной их комнаты всю мебель, оголить от семейных фотографий стены, то и тогда квартира не выглядела бы такой опустошённой и сиротливой, какой она выглядит сейчас, заваленная грудой камня и зияя пустотой там, где, сколько он помнит себя, возвышалась печь, незыблемая, как эти стены или этот потолок.

От глупой Нюськи разве чего добьёшься, она только радостно засакала вокруг брата, залепетала: «мама зинь дёт коло!» (мама в магазине,

придёт скоро). Спрашивала: а чего он ей привёз? Шурка вынул из своей дорожной котомки морковку. Нюска тут же заскоблила её крохотными зубками.

Прибежала мать, бросила кошёлку (отоваривалась макаронами), стала торопливо переодеваться – опаздывала на смену. Мечась как угорелая, разбрасывая одежду, поведала сыну:

– В первый приход Василий залез на крышу, кирпич, обмотанный тряпьем, в трубу на верёвке опускал – не помогло. Стал разбирать печь, добрался до дымохода. В нём-то вся напасть, какой-то кирпич выгорел, какой-то провалился. Василий говорит: завтра не приду, дневалю. Ну ладно. Послезавтра наступает – нету, третий день – нету. И на четвёртый глаз не кажет. Кухня в разгроме, я на плитке готовлю, замучилась.

Побежала на пустырь, а там никого, ни единого человечка, как корова языком всех. Лечу в домоуправленье: где стройбат, который на пустыре чё-то строит? Ничё не знаем, команда военная, нам не докладает. Тут дед Анисимыч подсказывает: кажись, на Нижней колонии их казармы.

А там отвечают: отбыли в энском направлении!

Мать столбом остановилась перед Шуркой, заплакала:

– Сынок, что делать-то будем? Ведь пропадём в зиму, поколеем. То хоть дымила, клятая, да грела, а теперь? Чего же он, стройбат чёртов, с нами сделал?

8

КТО ПОВИНЕН?

В самом деле, если рассудить: откуда он подвернулся, этот мастер печных дел, сельский умелец, стройбат Василий?

Неужто с него, а вернее, со злосчастной печи и потянулась нить, приведшая семью Баздыревых к тому непоправимому, которое случилось на исходе второй, самой тяжкой военной зимы.

Хотя при чём здесь Василий, взявшийся в урывочные часы увольнительных перебрать дымившую безбожно печь. Небескорыстно, конечно, – за тарелку супа перед работой и котелок картошки с собой в казарму. Тогда уж лучше начинать с самого Баздырева, ушедшего на фронт и по причине этой не успевшего починить в доме печь. Но и он повинен разве лишь в том, что не сумел предвидеть такую гадючую штуку, как война.

Да и вообще, кто повинен во всём том, что случилось за бесконечные четыре военных года в доме, отстоявшем от линии фронта за тысячи километров?

Кто повинен в том, что сестра Баздырева, грузная тётя Каля, собирая весной сорок третьего мороженую картошку на полях горных отводов, провалилась в шахтную выработку, повредила позвоночник и осталась инвалидом, прикованным на всю жизнь к койке?

А пенсионер Иван Анисимыч, ушедший работать автогенщиком на скрапной склад Кузнецкого комбината, при разрезании танковой брони подорвался на оказавшемся там снаряде.

А моя сестра Тоня, симпатичная, красивая, это признавали все, любимый которой не вернулся с войны, замуж так и не вышла, хотя в женихах недостатка не было, родила себе в тридцать лет ребёночка, назвала именем любимого, вырастила – и теперь, опять одинокая, доживает на свою крохотную пенсию телеграфистки.

А сосед из третьей квартиры Громов, провоевавший войну в разведке – вся грудь в медалях – в августе сорок пятого, едва возвратясь домой, в первую же ночь в нервном срыве застрелился из трофейного пистолета.

Печку вновь сложил дед Иван Анисимыч – проговорился как-то, что давно, ещё в молодости, помогал знакомому печнику. Тётя Галя вцепилась в него мёртвой хваткой, и он с большими сомнениями согласился. Но согласился больше оттого, что на дворе уже гулял стылый октябрь, сыпала крупа, и он видел: семья натурально замерзает.

Иван Анисимыч надеялся: может, кое-что из навыков и сохранилось, попробую. Но, оказывается, сохранилось мало, почти ничего, выглядеть печь стала грубо, неказисто, однако, когда тётя Галя растопила её, огонь сразу схватился, загудел, съедая растопочные дрова. Все радовались.

Позже выяснилось: горит печь что надо, не дымит, а вот греет ни к чёрту. Жар не держался, сильная тяга всё высасывала в трубу. Лишь чугунная плита да кружки на ней ещё как-то нагревались, а вот кирпич на боках и стенка в комнату так и стояли чуть тёплыми, даже если сжигалось целое ведро угля.

Что-то не так сделал бедный, старательный Иван Анисимыч – то ли дыру дымохода оставил больше, чем нужно, то ли вообще забыл выложить какое-то регулирующее тягу колено.

9

ОБЪЕКТ НА ПУСТЫРЕ

Объект, возведённый стройбатавцами на пустынном бурьянном косогоре между рощей и коммунальным домом, в котором мы жили, имел издали вид угрюмый, загадочный. Длинное, на треть зарытое в косогор бревенчатое сооружение; слегка сгорбленная крыша, засыпанная для тепла толстым – полуметровым – пластом земли; косые пеньки отдушин.

Я потом на всю жизнь запомнил эту окаменелую землю – чёрный перегой, перетолчённый со стеблями бурьяна и комьями рыжего, будто спешащая кровь, глинозёма...

Нас с Шуркой сразу озадачили узкие, как щель, окна вдоль стены – пять или шесть. Неуж амбразуры? Как в бронепоезде! Сквозь которые по врагу: та-та-та! Та-та-та! Но ещё больше озадачило и насторожило отсутствие какой-либо охраны. Иван Анисимыч как-то фразу обронил: «Ныне охранник – у каждой уборной об одно очко!» А тут... Прямо чудеса в решете да и только.

Ближайшее тщательное обследование «объекта» привело нас к полному разочарованию, особенно Шурку.

Объект оказался просто-напросто хранилищем овощей. Самое обыкновенное, *занюханное* овощехранилище – вот что соорудили на пустынном косогоре хмурые, голодные стройбатавцы...

Правда, овощей ещё не завезли, наверное, поэтому запоры дверей вместо замков перехвачены были проволокой, отмотать которую – только моргнуть.

Эта прозаическая деталь – моток ржавой проволоки вместо крепкого висячего замка – доканала Шурку. Он даже плюнул с досады на дверь, захлопнув её и закрутив, как было, а потом, оглянувшись по сторонам, ещё и мстительно побрызгал на нее.

Мы подобрали брошенные свои портфели у входа – дело было по пути из школы – и побрели домой.

И на целый год, до следующей зимы, презренное сооружение это, так жестоко разочаровавшее нас, по справедливости выпадет из круга нашего внимания.

10

«ВАША ПЕЧКА НЕ ЖРЁТ, А НАША ЖРЁТ!»

То ли одёжка военных времён плохо грела, или скудная – по преимуществу картофельная –

еда мало давала калорий, а может, в климате случались какие сбои, но почему-то из ощущений тех лет самым стойким осталось в памяти одно – ощущение холода, лютой бесконечной зимы, пропитанного угольным угаром трескучего мороза, от которого деревенеют губы и слипаются в носу.

И даже комбинатовский утренний гудок, извещающий об очередной отмене занятий в школах, кажется густым и мохнатым от инея – так замедленно, натужно проникает он сквозь забелённые узорами окна.

В две недели один раз мы с Шуркой, прихватив санки, отправлялись на склад гортопа.

Для операции этой обязательно требуется третий – ну прям позарез. И мы всегда долго решали, кого позвать: Кузю Шишигиша, у которого старшая сестра стала недавно на комбинате каким-то там толстопузым начальником, и поэтому уголь и дрова им, видите ли, привозили на лошади, и он ломался, как копеечный пряник, идти или не идти, а если и шёл, то всё равно был ненадёжен: в любую минуту мог смуться, или Анюту Курочкину из первого подъезда, эвакуированную из Донбасса.

Анюта всегда соглашалась, если была свободна, но тут другая напасть. Пальтишко у Анюты дохленькое, из перелицованного сукна, валенки латаные-перелатаные, матерчатые варежки, и она до того околевала, что мы прибегали к её помощи только в случае крайней нужды.

Сегодня выдался именно такой случай.

Кузя чем-то дома проштрафился, мать заперла его вместе с малышами на ключ, сама ушла в баню. Это он прокричал сквозь запертые двери, а может, придумал всё, хитрюга несчастный, поди проверь.

Пришлось звать Анюту. Мороз был не так чтобы очень, даже уши можно не завязывать, – ничё, вытерпит, терпеливая.

В тупике ветки, на огороженной проволокой площадке, возвышалась завьюженная снегом гора толстых поленьев. В талонах гортопа поленья эти именовались «дрова швырок». Чуть дальше тянулся вдоль рельсов высокий и длинный, остроконечный бурт каменного угля.

Между этими рукотворными холмами сутулился дощатый домик, контора склада, с жестяной, вечно дымящей трубой и с такой же вечной, казалась нам, терпеливой очередью к нему.

Когда бы ни пришёл сюда, люди уже стоят, растянувшись изломанной цепочкой – от конто-

ры до самых ворот, сплетённых из той же арматуры. За каждым тащатся на верёвочке санки – наверное, оттого ещё очередь видится особенно длинной, удручающей.

Поразительное дело, хвост её никогда не выходил за пределы ворот, однако и не шибко укорачивался. Стабильность гортоповской очереди была загадкой. Тут действовал какой-то неизвестный нам, мальчишкам, регулятор.

Уголь отпускал пожилой, свирепо обросший щетиной дядька в шубе и ватных пупырчатых штанах, а дрова – тётенька неопределённого возраста, тоже в шубе и тоже в штанах, сверх того замотанная в шаль.

С дядькой всегда выходило удачно. Мы уже изучили его характер. Наступала очередь – Шурка брался энергично за лопату, а я держал мешок. Насыпали четыре мешка. После чего надо было подтащить их волоком к большим торговым весам и завалить на площадку.

Здесь инициатива полностью переходила к Шурке. Надо тащить так, чтобы и до весов не дотащить, и чтобы кладовщик увидел: пацанва бьётся из последних силёнок.

Шурка, ухватив мешок за горловину, кряхтел и пыхтел, покрикивая во всеуслышание на меня, хилого своего приятеля, помогавшего снизу. Раз он даже пукнул от натуги! Мешок в самом деле был хотя и небольшой, но увесистый. Однако уж не настолько, чтобы так наглухо кряхтеть и пукать.

Кладовщик замечал наши *честные* потуги. Забрав талоны и деньги и только глянув наметанным глазом, махал рукой: ладно, на весы не кожьтесь, так вижу – не превышает.

Шурка же был уверен, что *превышаем*. Вот только на сколь *превышаем*, как проверить?

Я однажды высказал предположение: а вдруг наоборот получается – немножко не досыпаем, надо бы хоть разок взвесить, ну, для уверенности.

Страшно Шурка рассердился, сказал: кладовщик тогда увидит, что превышаем, и заставит затащить на весы постоянно. И опять же мешки подымает главным образом он, Шурка, и кому как не ему знать их истинный вес.

Последний аргумент – железный. Шурка без всяких-яких сильнее, тут и к цыганке ходить не надо. Бицепсом правой руки он рвал нитку десятый номер! Мне же, как я ни пыжился, напрягая «главную» мышцу, не удавалось порвать даже сороковой. Но, по всей вероятности, семена

сомнения в Шуркину душу упали. Шурка стал насыпать уголь так, что на завязку места не хватало, сыпь, гадство, обратно! – мартышкин труд, и очередь угрожающе нервничала. Раза два мешок развязывался по дороге, и тогда голыми руками, сняв рукавички (иначе дома нагорит), подбирать просыпанное пополам со снегом – тоже мало радости.

Но Шурка был непреклонен. Купленного законно, по талонам, угля на две недели им не хватало, потому что их печка жрала.

С дровами волокиты ещё больше. Когда приближались к дровяному складу, мне заранее становилось не по себе. Я думал тоскливо: сейчас начнётся.

Перед тёткой, закутанной до глаз, возвышалась квадратная рама на подпорках. Надо, когда настанет очередь, из громадной, сваленной дыбом кучи надёргать быстренько поленьев и сложить в раму. Но быстро не получалось. Поленья смёрзлись, обледенели – выдирать их приходилось с собачьим трудом.

Заполненная доверху рама означала кубометр. Дрова как назло всё горбыли, в треть, а то и в полкругляша; какой тут швырок, швырни попробуй – придумали тоже! – поднять да дотащить бы впору.

Однако поднять и дотащить – ладно, не главное. Главное – сложенный в раму швырок оставлял между собой пустое пространство. Шурка аж губы кусал с досады. Тонких поленьев попадалось мало – другие тоже были не дураки, выбрали! – и в поисках мелочи мы лазили чуть ли не по всей деревянной горе, рискуя сломать ноги, а то и шею.

Ругалась на чём свет кладовщица, ругались нервные из очереди, но Шурка, оглохнув, деловито распинывал валенками перетолчённый снег, искал отцепины, затыкал оставшиеся пустоты.

Я трусил перед раздражённой кладовщицей, боялся нервных из очереди, злился на Шурку, шипел ему сердито:

– Уже дополна, кончай ковыряться, а то я с тобой больше ходить не буду!

Пытаясь засунуть полено в раму единственным тонким сучком (само полено уже явно не лезло), Шурка так же тихо шипел в ответ:

– Отскочь, тебе хорошо, ваша печка не жрёт, а наша жрёт!

Шурка был прав. Ведёрка угля, что я притаскивал из ларя, хватало только на утреннюю рас-

топку, но тепло держалось весь день. Обед и ужин бабушка Наталья Демидовна готовила на плитке. Правда, тут сильно сказывалось то обстоятельство, что наша семья жила на втором этаже, а Баздыревы – внизу, на первом, где комнаты сами по себе холоднее. Чуть мороз за двадцать пять – шляпки гвоздей изнутри обрастали мохнатым инеем, как грибы опёнки, углы отсыревали. Вдоль пола начинало тянуть. Маленькая Нюська, которой приходилось обитать главным образом в нижних слоях квартирной атмосферы, постоянно простужалась, кашляла до посинения.

Едва только мы, получив уголь и дрова и оттачив всё в сторонку, сели отдышаться – прибежала Аня. Стежёные, простроченные ниткой чулки на худых ногах, руки по локоть в старой материнской муфте из какого-то облезлого зверька. Молодец, знает, что не на печке сидеть позвали.

Теперь можно начинать второй этап операции – перевозку. Сторожить оставшееся – вот для чего нужен нам третий.

Было два случая с Кузей Шишигой, обманул, не пришёл, как обещал, и мы вынуждены были кидать оставшиеся дрова без присмотра, на произвол судьбы, – гружённые мешком угля санки одному, хоть тресни, в нашу горку не затащишь.

Первый раз, слава богу, пронесло, никто не успел позариться, а второй раз – отполовинили! Шурка, которого трясло от возмущения, утверждал, что *отполовинили* восемь горбылей, но я точно видел: не больше четырёх. Вступать же в дискуссию с Шуркой по этому поводу – значит как бы немножечко защищать воров. Я и не спорил очень. Хоть сколь, урон ощутимый.

Важнее было, что в гортоповской очереди заметили мы двух пацанов из точилинских, из свиты Гошки Мякиша. Факта воровства точилинскими четырёх горбылей («восьми!» – кричал Шурка) это не доказывало, однако, безусловно, подтверждало их подлую сущность; и пацанов этих следовало бы при случае подловить по одному.

11

БЕЖЕНЦЫ НА ВЫМИРАНИЕ

В лето сорок второго хлынула вторая с начала войны – и самая массовая по численности – волна гражданских эвакуированных. Жители южных, кавказских областей и республик, жители Сталинграда, а также вывезенные из блока-

ды ленинградцы, главным образом дети, подростки.

Уже к осени население Кузнецка выросло на добрую четверть. Нормы продовольствия – и без того скудные – были урезаны. Хлеб стали выдавать только по рабочим карточкам. Иждивенцам (не работающим на производстве женщинам и старикам) хлеб на всю зиму был заменён картофелем. По эквиваленту – за сто граммов печёного хлеба четыреста граммов картофеля, вместо круп и макарон – тоже картофель.

Открывшиеся было в первые месяцы войны коммерческие продовольственные магазины снова закрылись. Но раздачу хлеба сверх карточного в школах удалось сохранить до конца войны – пятьдесят граммов на школьника в день.

Поднос с хлебными пайками (довесок прикалывался щепочкой) – вносил торжественно в класс староста, бдительно сопровождаемый классным руководителем.

Застучала по городским улицам, зацокала по камню и асфальту мостовых обуви на деревянной подошве.

Среди резко возросшего населения города «органы» затеяли вдруг тотальную перерегистрацию паспортов – «с целью выявления и удаления из режимного города контрреволюционного и уголовно-преступного элемента».

И такого «элемента» оказалось пугающе много...

Одновременно была прекращена прописка беженцев, «покинувших прифронтовую полосу в неорганизованном порядке».

Таким образом, гражданские, взрослые и дети, брошенные во многих прифронтовых местностях властями на произвол судьбы и чудом выскользнувшие из-под накатывающего вала военных действий, снова – но теперь уже глубоко в тылу – попадали в трагическое положение.

В эту же категорию зачислялись и беженцы «с границы».

А кто оказался вообще «без свидетельства личности» (утеря документов в суматохе эвакуации была явлением повсеместным), те репрессивно пополнили «трудовую армию», лагеря которой, как грибы после дождя, стали расти в окрестной тайге – на лесоповале, в каменных карьерах и шахтах, на прокладке дорог и ЛЭП.

Женщины с детьми и старые люди (из тех, кому отказано было в городской прописке) пешими раздёрганными колоннами со скарбом на

плечах (подводы нашлись лишь для младенцев и больных) потянулись в сельские голодные и холодные районы – практически на вымирание.

Вторая военная зима надвигалась на город, особенно на его обширные окраинные районы с печным отоплением, в мрачной, устрашающей перспективе обвалных холодов, на защиту от которых почти не оставалось топливных запасов.

Постепенно исчезли деревянные изгороди вокруг усадеб и огородов, многие дворовые постройки. Исчезли подсолнечные бодылья, лесом торчавшие на заснеженных огородах – тоже сошли за топливо.

Дольше всех – до первых морозов – стояли дощатый забор вокруг берёзовой рощи и танцплощадка в её центре. И забор, и прекратившая давно, ещё летом, функционировать площадка – с будочкой кассира, киоском «Пиво-воды» и домиком-уборной в глубине деревьев – были общественной собственностью, и притрагиваться к ним топором (времена-то военные, законы суровые!) как-то остерегались.

Но остерегались только взрослые.

Поздними вечерами, когда зги не видно и только ледяной ветер шуршит в голизне берёз, стали раздаваться со стороны рощи треск и крик выдираемых гвоздей. Это орудовала пачанва, подростки.

Самую длинную сторону забора, обращённую к частному сектору, помаленьку растащили точилинские, ближе к пустырю и овощехранилищу – мальчишки из 12-квартирного дома.

12

ГРАБЁЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ

Если пройти рощу насквозь, потом за рощей миновать школьный двор, потом обширную и совсем неинтересную территорию кирпичного завода, засыпанную красной крошкой, каким-то жестяным хламом, заставленную без всякого порядка кособокими приплюснутыми строениями, то остановишься перед островерхой горой шахтного террикона.

Сама шахта с вертящимися непрерывно колёсами главного ствола, корпусом комбината, грузовыми эстакадами, лесоскладом и веткой железной дороги – чуть поодаль, под склоном увала.

Хорошенько полазишь по его крутым, в равном камне бокам, пообиваешь локти и колени – соберёшь по кусочку полведра, а то и ведро угля.

Иногда попадалось дерево – черенок от шахтёрской лопаты или топора, сосновый изжёванный клин, а если повезёт, то и чёрный обломок рудстойки.

Однако добыча эта была осложнена двумя немаловажными обстоятельствами.

Первое: шахта была под охраной. Случалось, появлялся неожиданно дед с берданкой, а может, не дед, просто мужик в тулупе – издали да с испугу разве разглядишь. Лютым матом гонял всех от террикона. И не потому, что шахте жалко этих бросовых в массе породы кусочков угля. Террикон, самовозгораясь, постоянно тлел – и глубоко внутри, и поближе к поверхности, и существовала реальная опасность провалиться в выгоревшие пустоты или быть подмятым скатившейся сверху глыбиной.

Днём по склонам курчавился суетливый дымок, а ночами, особенно когда дул ветер, гора то там, то тут беззвучно фыркала искрами, калилась пятнами, и казалось: багрово-смутные зловещие пятна эти сами по себе плавают в угольной черноте неба.

По ближним окрестностям растекался тяжёлый мертвенный запах жжёного камня.

Подножие террикона зимой бело заравнивало. Чтобы отыскать обломочек угля, надо карабкаться ближе к эстакаде, на чёрный, свеженасыпанный язык породы, но тогда ты становился виден всему, пожалуй, району, не только что мужику в тулупе.

Тут частенько просвистывали камни, подскакивая с костяным щёлкающим звуком бильярдного шара. Рабочий, опрокидывая наверху вагонетку, грозил вниз кулаком, ругался. Но для него-то мы были недосыгаемы!

Второе обстоятельство, сильно затруднявшее нам, зарощинским, пользоваться халявным, хотя и нелёгким углём террикона, – это вечная и неугасимая враждебность точилинской братии. Террикон, стоявший на земле их района, они считали своей законной собственностью и никого постороннего к нему близко не подпускали.

Мы пытались по-мирному доказать им, что отвал – не их, а «общий» и что его «на всех хватит». Точилинских во главе с Гошкой Мякишем эта логика не убеждала, ибо их – больше и они, безусловно, сильнее.

Возле отвала шуметь и затевать драки нельзя – услышит охранник, точилинские устраивали засады на ближних подступах, то есть во дворе кирзавода.

Напали они на нас с Шуркой однажды, когда мы, насобирав в мешки с горем пополам по ведёрку угля, крались узким проходом между складами. Напали подло, как фашисты, сзади. Меня подмяли двое хилаков и несколько раз больно сунули лицом в снег. С залепленными очками, привязанными к ушам, я ворочался в снегу, фактически выключенный из драки.

Шурка, уронив мешок, стал отступать спиной к стене склада.

Мякиш в своём по-чапаевски развевающимся ватнике без застёжек и ещё один с ним, долговязый, в фабзайцевской чёрной шинели, как глиста, прыгали перед ним, тесня в снег. Долговязый всё норовил пнуть своими ходулями, обутыми в кирзовые ботинки на деревянной подошве.

Шурка, извернувшись, всё же сумел захватить Мякишу по его широкой морде. Морда аж хлюпнула. Рукавица смягчила удар, но Мякиш от неожиданности не удержался, сел раскорякой в снег.

Все трое остановились, тяжело, враждебно дыша. Мякиш, судорожно запахивая полы, повторял на всхлипе: «Ну, падла, за это ответишь... Ну, падла, за это ответишь». При этом часто сплёвывал, проводя каждый плевком глазами — удостоверяться, нет ли крови.

А те двое, что свалили меня, подхватили наши мешки с углём, резво кинулись за склады. Это был грабёж среди бела дня.

Шурка с отчаянным криком: «Куда, гады, а ну положь!» — упал грудью на Мякиша, и они вместе плюхнулись в сугроб.

Захлебываясь от снега, набившего рот, от горечи обиды, он коленками стал вколачивать Мякиша в снег, пока его сзади не опрокинул долговязый. Они яростно забарахтались, теперь уже втроём...

В общем, когда всё кончилось и точилинские слиняли, я протёр наконец свои очки — и вижу: Шурка сидит на пятках в месиве снега, сгорбился, нервно проводя рукавичкой под носом. Полуоторванный ворот пальто свисает собачьим языком с его плеча.

По дороге домой, бесславной, надо сказать, дороге, после долгого молчания Шурка спросил меня:

— Тебе за мешок дома влетит?

— Не знаю, — сказал я. — Если бабушка маме не скажет, тогда, может, нет.

— Бабушка у тебя порядочная, не скажет. А мне уж точно мать врежет. У нас больше такого

крепкого нету, она из брезентухи сама шила. Злая чё-то она стала последние дни. Может, потому, что от папки давно ничего нет?.. Меня за эту вшивую печку прям запилила. Если бы, говорит, не твой стройбат. А чё он мой? Скажи: чё мой?

— Пальто вот у тебя... — я покосился на его живописно болтающийся воротник.

— Ерунда. Счас приду, нитками пришпандорю — и харэ!

Назавтра он, как всегда, поднялся на наш второй этаж, брякнул в дверь. В одной руке — пустое мусорное ведро, в другой — наподобие посоха старый черенок от лопаты.

— Пошли, что ли?

— Куда? — не понял я.

— Куда-куда — на кудыкину гору, терриконом называется!

Я, стоя в дверях, замялся:

— Да у нас вроде ещё немного есть...

Шурка презрительно выпятил губы.

— А у нас нету, — вызывающе сказал он. — Небось сдрейфил?

— Сам ты сдрейфил. У них вон какая атанда.

— А это на что? — Шурка пристукнул черенком об пол. — Пускай только сунутся. Одному по кумполу засвечу — другие сами отскочут. Через склады не пойдём. И ты тоже прихвати чё-нить поувесистее, понял?

— Ведро-то взял — кумпол прикрыть? — поинтересовался я.

— Мешки все в погребе, раскапывать надо, — буркнул Шурка: должно быть, ему мать всё же «врезала». — Это уж теперь когда за картошкой полезем...

«Поувесистее, поувесистее...» — уныло думал я, одевшись и заглядывая в кладовку, шаря глазами по заваленным всяким хламьём углам и полкам.

Я понимал: боец из меня — смехотура одна, и что бы я ни прихватил поувесистее, на исход стычки это повлияет мало. А если вдруг мне по кумполу достанется и очки раскокают — тогда что? Где мать достанет другие?..

Пришёл суровый январь второй военной зимы. Сводки с фронта продолжали поступать одна другой тревожнее, но Сталинград держался.

Котловину города затягивали тяжёлые туманы. Туманы пахли коксом и окалиной. Скрежетало на морозе железо. Крики паровозов со станции доносились резко, точно удары бича.

Каждое утро комбинатовский басистый гудок извещал об отмене занятий в школах.

Шурка Баздырев, напялив на себя всё, что было из одежды тёплого, тупым, расшатанным колуном доламывал на дрова свой пустующий ларь.

Но к середине января морозы внезапно отпустили, туман исчез. Над городом пробушевал влажный густой снегопад, выбелил закопчённые крыши, улицы, склоны пригородных увалов.

В полдень же потеплело до того, что заморосил дождь и с крыш закапало, это в январе-то! На дорогах выступили лужи, возле подъездов домов, по тротуарам захлюпала снежная каша.

В валенках не высунься — ну прямо апрель да и только.

А в ночь снова завернул мороз. Да такой, что в роще стали с треском ломаться отяжелевшие от льда ветви.

Многие деревья были больные — в дуплах, расщеплены ветрами, в расколах и трещинах. Напитавшись дождевой влагой, захваченные враз обвальным морозом, они возвестили о своём несчастье гулом оглушительно лопающихся жил, похожих на выстрелы.

Жители окрестных улиц всю ночь с тревогой суеверно вслушивались в эту зловещую, загадочную канонаду.

На заледенелых проводах, толстых, как канаты, повисли блестящие гребни сосулек. Провода не выдерживали, рвались. Электричество гасло.

Уже хорошо освоенным, безопасным путём, минуя двор кирзавода, мы с Шуркой — сперва по железнодорожной ветке, потом под какой-то длинной насыпью, вдоль штабеля труб — прокрались к подножию шахтного отвала.

Было утро, мы теперь учились в третью смену.

Картина открылась неожиданная. Она была удручающая. Хоть стой, хоть падай.

Гигантский конус отвала грубыми очертаниями напоминал египетскую пирамиду, до самой макушки матово поблескивал отечным льдом. Уменьшенная расстоянием до размера спичечного коробка, кособоко плыла-взбиралась по нему вагонетка.

Только в двух или трёх местах, где в глубине таинственно тлело и вихрился прозрачный дымок, были чёрные и вперемешку коричнево-ржавые, безо льда и снега, пятна: туда лазить боялись.

Мы замерли поражённые.

Шурка пнул подшитым валенком по коряво-остекленелому боку, цвикнул на него сквозь редкие зубы. Потом, откинув в сторону пустой мешок, который он держал под мышкой, попытался вскарабкаться.

С потугами прополз на четвереньках метров пятнадцать — и вдруг, по-лягушачьи растопырившись, съехал на брюхе вниз.

Не подымаясь, окинул хмуро взглядом гору.

Солнце, пробившись сквозь замороженное, ещё вчера сочившее влагу небо, залило склоны игривым радужным сиянием. Розовые, синие, вытянутые, как летящие капли, тени заполнили каждую ямку, каждую вдавленную во льду.

Бока горы мягко переливались, точно оклеенный кусочками фольги ёлочный шарик.

От этого предательского блеска у Шурки на вернулись на глаза слёзы.

Я тоже в растерянности бросил свой мешок под ноги, сел рядом с другом.

Этой беды мы не предвидели.

— У, короста, — с ненавистью пробормотал Шурка, шмыгнув носом.

До весны теперь не растает.

Я возразил неуверенно:

— А может, растает.

— Отскочь, не растает! И дураку ясно.

— Вчера вон растаяло.

— Вчера! — вскинулся Шурка. — Дед Иван Анисимыч говорит: сто лет такого не было, чтобы в январе. А ты — вчера! Заткнулся бы со своим вчера.

— Чего злишься?

— А чё ты задолдонил — вчера, вчера.

— Это ты задолдонил.

— Ну и заткнись, без тебя тошно.

Я обиженно отвернулся, скорчился от проникшего за пазуху холода. Делать здесь больше нечего. И Шурка со своим всезнающим дедом правы, конечно: не растает, хоть расшибись.

Вверху громыхнула опрокинутая вагонетка. Свал породы зашуршал, сползая, и затих, замер. Несколько камней, сумасшедше проскакав склон, завертелись волчком по насту.

Мы только покосились. Камни эти и смотреть нечего — наверняка порода. До самого низу до-

летает только камень, порода. Уголь – он полегше – задерживается выше.

Поднялся Шурка на ноги и со злым, упрямым выражением на лице пошёл в другую сторону, за террикон – скрылся. Вскоре я услышал его приглушённый оклик. Вскочил и, подобрав оба мешка, разогреваясь на ходу, запрыгал туда – и вижу: Шурка, неизвестно как преодолев несколько метров склона, сидит на самом краю ледяного панциря. Выше, в плитняковых вздыбленных сколах, пятно, свободное ото льда и снега.

И только там, где невидимо струится тёплый воздух глубинного горения, камни холодно, вызывая цветут стерильно белыми оторочками инея.

– Ну-ка брось сюда мой мешок, – сказал он, запалённо дыша морозным паром, оглядываясь.

Я в нерешительности остановился: в мгновение понял, куда нацелился лезть Шурка, и внутри у меня всё сжалось.

– Не надо, Шурк, – сказал я.

– Ладно, чего там, давай, – откликнулся тот сверху.

– Не лезь, не надо.

– Да ты чё, я потихоньку.

– Хоть как – не надо, а?

– Да я же не по горелому, а тут везде твердо-законная, – и Шурка стукнул кулаком по плите, точно подтверждая надёжность и «твердоту» поверхности.

– Всё равно нельзя, давай что-нибудь другое придумаем?

– А чего?

– Не знаю.

– Ну и не дребезжи тогда, надоел! Кидай быстрее, а то дед с берданкой припылит.

– А давай к погрузке прокрадёмся? Там с вагонов всегда падает.

– Балда, – сказал сверху Шурка. – Охранник только круг погрузки сейчас и крутится. С ходу зацапают.

– Не зацапают. Убежим.

– Зацапают, сказал! Там бежать некуда. Разбухтелся! Ещё раз вякнешь – наподздаю. Ты кинешь мешок или нет?

– Нет! – упрямо выкрикнул я и в подтверждение своей решимости отбежал в сторону, откуда если бы даже захотеть – не докинуть.

– Мне-то опять карабкаться? – Шурка тирнул рукавичкой-шубинкой под носом и без всяко-

го перехода добавил угрожающе: – Ну, короста, слезу – мало не будет.

Я, держа оба мешка в охапке, на всякий пожарный отбежал ещё дальше. Шурка подsunул под себя руки в шубинках и, оберегая задницу от неровностей льда, съехал вниз. Я кинулся бежать, поскользываясь на кочках. Шурка нагнал меня, пихнул с разбегу в спину, я упал, растянулся.

Шурка схватил мешок, дёрнул к себе – не выдержал.

– А ну отцепись!

– Не отцеплюсь! – у меня от бега и дыхания заиндевели стекла, и я, лёжа на боку, клещом вцепившись в мешок, видел склонившегося надо мной Шурку как в тумане.

– А по сопатке? – сказал тот.

– Ну и бей!

– Сыми очки.

– Щас, разбежался.

Шурка пнул меня валенком в бок, потом, ожесточённо дёргая за конец мешка, потащил волоком. Шагов через пять я не выдержал – пальцы ослабли, разжались.

Перекинув отвоёванный мешок через шею, Шурка снова настырно полез на обледенелый террикон.

И тогда я, подскочив, в отчаянии бессилия ухватил его сзади за ногу. Растопырившись, как паук на скользкой паутине, тот полуобернулся злым, искажённым от натуги лицом, выдохнул:

– Отпусти ногу, сказал.

– Не отпущу.

– Гадом буду, отметелю, – пообещал Шурка и свирепо дрыгнул пойманной ногой – валенок остался у меня в руках! Портянка из старого вафельного полотенца размоталась, повисла на ноге замысловатой спиралью.

Шурка перекинулся на спину, сел, держа разутую ногу на весу – изумление и беспомощность одновременно были написаны на его лице.

– Отдай пим, зараза, – сказал он.

– Облезешь.

– Нога же мёрзнет! – Он пошевелил выразительно голыми пальцами.

– Слазь совсем, тогда отдам.

Гладко-розовая, с грязными разводами пятка дёрнулась перед моей физиономией, норовя мне в лоб – не достала. Шурка при этом, потеряв опору, так и поехал вниз – с высоко и бесславно задранной ногой.

– У, фашист несчастный, – выругался он, сидя на снегу с мешком на шее, и вдруг губы его задёргались, вытягиваясь резинкой, щёки поползли в стороны: Шурка заплакал. Невероятно!

Он сидел и плакал, растирая грязной шубинкой смерзающиеся ресницы, а я, виновато-растерянно присев перед ним на корточки, неловко заматывал ему ногу вафельной портянкой, совал в нахлопдавший валенок, бормотал:

– Ну, Шурк... ну ладно тебе. Ну чё ты? Не проживём мы, что ли, без этого отвала вонючего?..

14

ТЕМНОТИЩА – ВЫРВИ ГЛАЗ

В сумерках горбатое приземистое тело овоцехранилища напоминает забураненную насыпь. И когда на металлургическом комбинате льют шлак и небо раскаляется, бревенчатые полки стен начинают угрюмо отливать гофрированными сосульями льда, чернеть заплатами наглухо заколоченных окон-отдушин.

Широкие двухстворчатые двери на треть завалены снегом. Корка снега после январской оттепели – сплошной лёд. Но в размашистые эти двери-ворота врезана маленькая – нормальная человеческая – дверь. Расположена она выше, поэтому немного только, на ладонь, впаялась в наледь.

Мы, нервно суетясь, окалываем её топором. Топор при каждом ударе звенит, крикает на весь пустырь, повергает в трепет наши сердца. Хорошо ещё, что входом хранилище – к безлюдной сейчас, среди зимы, берёзовой роще.

В овоцехранилище темно, как в заброшенной штольне. Несмотря на то, что вошли мы сюда с улицы, с мороза – разгоряченные лица наши леденит погребной застоявшийся холод.

– Чиркай! – громким шёпотом командует Шурка, и когда в моих руках вяло загорается спичка, он подносит скрученный жгутом старый тетрадный листочек.

На полминуты вспыхивает факел.

Пустыня стен, пустыня земляного, цементной твёрдости пола. Свинцовый дух гнили, грибка. Два ряда бревенчатых стоек, уходящих во тьму. Стойки поддерживают земляную крышу.

Устрашающая в своём безмолвии пляска теней. Хищный – из глубины – взблеск проникшей на стены наледи.

Вторую зиму стоит овоцехранилище и вторую зиму пустует.

Потому что хранить в нём нечего...

Шурка хлопает ладонью по круглому боку ближней стойки. Это сосна. Кое-где по ней ещё кучерявится кора. Верхний конец её упёрт в несущую балку, в вырез, который придаёт ей устойчивость. Нижний – прикопан, а может быть, просто придавило от тяжести.

Скорее всего, это так. Земляная окаменелая от морозов крыша – полуметровой толщины.

– Если брать с умом, тут знаешь на сколь хватит? – Шурка старается придать голосу важности: эта идея принадлежит, конечно же, ему, и сейчас он видит, как легко и просто она осуществляется.

Всё-таки голос его чуть дрожит, и когда бумажка гаснет, осыпав руку тёплым щекочущим пеплом, он опаздывает поджечь от неё другую, бормочет оправдывающе:

– Гадство, палец обжёт, давай еще.

– Три штуки всего, – предупреждаю я и оглядываюсь на дверь, которую мы оставили полураспахнутой: не хватило духу прикрыть за собой – так боязно было ступить в этот затхлый, пугающий мрак.

– Ладно, свети, я вот по этой счас дербану...

Теперь бумажные факелы жгу я, а Шурка, который ростом на полголовы выше, вздымает топор и с размахом бьёт обухом по стойке – шмяк!

Промёрзшее дерево – как кость. При этом важно ударить повыше.

Сдвинулось или нет? Зараза, чего-то незаметно!

Ещё разок – шмяк! А теперь?

– Свети, свети! – шипит возбуждённо Шурка, – чего телишься?

Ага, теперь, кажись, подаётся. Я не успеваю вытаскивать из карманов шубейки и поджигать заранее, ещё дома, накрученные жгуты.

Шмяк! Ну и звук – прямо палкой по затылку.

Конец стойки с каждым ударом всё больше выползает из паза...

Честно сказать, вся эта затея с забытым овоцехранилищем мне не по душе, хотя дрова для растопки нужны хоть тресни, особенно Баздыревым. Если бы не случай на отвале, не Шуркины неожиданные слёзы, которых прежде никто у него не видел даже в драках, я обязательно бы отговорил его, и мы придумали бы что-нибудь другое.

Всё-таки хранилище – не отвал породы, где всё бросовое, ничейное. Хоть и пустое стоит, всё

равно – чьё-то. Сцапают, и будешь жить с приводом, как Мякиш, а то и похуже чего. Говорят, какой-то голодный пацан взял на станции с платформы шапку жмыху – дак в КПЗ досыта насиделся, мать еле его оттуда выплакала.

Жуть-то какая, темнотища-то – вырви глаз! Тени от стоек прямо сбесились. Как недавно в кинокартине «Большая жизнь», которая про шахту, про шпионов и вредителей. Разве поманит после этой картины работать в шахту, бр-р!..

Наконец двухметровой высоты стойка с глумим шмяком падает наземь. Вывернутый её комлевой частью глиняный пласт на сломе – в блёстках изморози. Шурка победно, с усталым вздохом, вонзает в поверженное бревно топор.

– Хватайся с того конца!

Напрягая все силёнки, мы поднимаем его и, ориентируясь лишь на слабое свечение дверного проёма, пыхтя, как паровозная сцепка, выбираемся наружу. Заматываем дверь проволокой, как было.

Сумерки уже плотно окутали пустырь, слева тёмная стена рощи, справа в отдалении светится призывно отёкшими окнами наш одинокий двухэтажный дом. Доносятся голоса катающейся с ледяной горки малышни.

Скользкое, неухватистое бревёшко крутится в руках, выворачивает напрочь суставы.

Не проходим мы и половину пустыря – небо коварно накаляется багряным трепещущим светом, будто открыли где-то в небесах гигантскую печную заслонку. От наших сгорбленных фигурок, придавленных сосновой стойкой, вытягивается тень в виде буквы «П». Меня едва не переламывает, я останавливаюсь. Шурка тоже.

Не сговариваясь, мы бросаем ношу в снег, садимся, съёжившись, надо переждать, мало ли что.

Нежно-розовым, как в глубине морской раковины, то вспыхивает, то гаснет бахрама высвеченных облаков. Мы знаем: вспышки эти повторятся много раз, по количеству опрокидываемых вагонов-ковшей. Днём их можно даже посчитать глазами. По высоченной насыпи толкает их куцый, без тендера, паровозик. Ковши ползут цепочкой.

Опрокидываясь, ковш, похожий на перевёрнутую шляпу Наполеона, выплёскивает ослепительно белый язычок. С каждым мгновением язык стремительно растёт, удлиняется – и вот уже сверкающей сказочной лентой сверху вниз перепоясало насыпь. Ослепительно белое становится золотисто-багряным, потом алым, потом малиновым. Затухает... В той же последователь-

ности и теми же красками – только тысячекратно увеличенно – вспыхивает, расплывается, горит и неистовствует над городом зарево.

Мы с Шуркой затаённо, терпеливо ждём.

Вся наша с ним ещё невеликая жизнь – под этими рукотворными циклопическими заревами. Они нам так же привычны, как каким-нибудь там эскимосам полярные сияния.

Я, правда, родился не здесь, а в селе, в степном Алтае, ну это, считай, по соседству. В растущий бурно Кузнецк на реке Томи родители мои переехали, когда я только-только научился ходить (сестра Тоня готовилась в первый класс).

Странный тот был переезд – неожиданный, спешный, похожий скорее на тайное бегство. Семья сельского интеллигента (отец заведовал маленькой четырехклассной школой) нырнула в городской, чуждый ей муравейник, растворилась в нём.

Это были для многих зыбкие и угрюмые, пропитанные парализующим страхом ночных арестов 30-е годы.

Если уж отец двоих детей, человек здравомыслящий и законопослушный, решился однажды на такой безрассудный шаг, как бегство, то была, значит, тому причина.

Скрыв диплом учителя, устроился он на заводской шлаковый двор чернорабочим. Здесь и затерялись его следы. Адовая работа эта – в угарном дыму и жаре – была физически тяжела отцу, не отличавшемуся здоровьем, изнурительна и опасна. Однако только она, проклятая, давала крышу над головой и возможность семье из четырех человек не умереть с голоду.

Поселили нас вблизи шлакового двора, в старом бараке бывшего лагпункта, приговорённом под снос. Но прожить нам пришлось в нём ещё шесть долгих, как вечность, лет.

Первое время я просыпаюсь ночами в своей деревянной решётчатой кровати – от гудков, железного язга и свиста, от того, что лицо мне заливает огненно-яркий багровый свет.

Я с трепетом смотрю, как всё вокруг меня наполняется таинственными существами – с носами и крыльями в форме древесных листьев; воздух от их движения касается моих волос.

Они скользят по стенам, потолку, безмолвно ломаясь, накрывают спящую на полу на волосяном матрасике Тоню, приближаются к моей голове.

Охваченный неизъяснимым ужасом, я перебегаю через решётку и бегу к отцу с матерью. Их топчан – в противоположном углу. Я забираюсь, втискиваюсь в уютное тепло между ними. И там, под их сонными, сплетающимися на мне руками, успокаиваюсь и снова засыпаю.

Просыпаюсь я утром опять за своей решёткой. Полуночные страхи, бегство в родительскую постель вспоминаются, как неясный сон.

Металлическое лязганье, свист пара, отрывистые, как крик ночных птиц, тонкие гудки кранов – ко всему этому я мало-помалу привык, притерпелся, перестал замечать. А вот к огненным всплескам, которые с невыносимым постоянством, точно багровый дым, заполняют наше убогое жильё, привыкнуть не могу. Особенно после той ночи...

В ту ночь меня разбудили мужские хриплые голоса, тяжёлое шарканье ног – и вижу: трое чужих дяденек вносят отца и кладут на топчан, на которой мать, ставшая вдруг белой как стенка, успевает набросить одеяло и подсунуть подушку.

Кладут как был – в закопченной куртке и штанах, только на ногах вместо брезентовых стоптанных сапог, в которых отец уходил в ночную смену, намотано какое-то немислимое тряпье.

Когда мама трясущимися руками пытается дотронуться до тряпья на ногах, он так страшно скрипит зубами, что мама не выдерживает, начинает тихо плакать.

Электричества нет, его часто отключают без всякого предупреждения. Мама зажигает лампу. Приходит доктор. Он явно чем-то недоволен. Вынимает из ящика блестящий нож и, ругая сквозь зубы тех, кто намотал этого тряпья («невежи, дикари, олухи царя небесного, не миновать заражения»), начинает резать его, отбрасывать клочьями. Заодно решительно разрезает и кусками вытаскивает из-под отца его грязные штаны и куртку. Штаны по колени в обгоревшей бахромке.

На оголённое, необыкновенно белое тело отца, на постель, на халат доктора, загораживающий ноги (там что-то вздутое, ужасное), падает свет керосиновой лампы.

Вот в окна плеснул багрянец, накалил стены, куцые бумажные занавесочки – лампа меркнет.

Тело отца, подушка, халат сердитого доктора становятся яблочно-розовыми, а потом цвета растёртого кирпича...

Я лежу и с испугом смотрю на всё происходящее, непонятное мне, сквозь свою деревянную решётку.

Утром отца увезли в больницу, откуда он уже не вернулся...

Вот и получилось, что отец, спасаясь от ареста и лагеря, прибежал в лагерь же – и ещё семью прихватил.

Два или три года спустя нас чудом каким-то отыскала папина мама, Наталья Демидовна, и ужаснулась нашей барачной нищете, соседству с вонючей заводской свалкой, анемии наших с Тоней лиц, которых редко касалось солнце, вечно задымлённое тяжёлыми и тошнотными испарениями шлакового двора.

Она тут же залихорадилась – увезти нас отсюда на родину, однако мама отказалась – наотрез! – возвращаться (работала она в котлопункте шлакового двора судомойкой).

Бедная, она боялась смертельно, что там, откуда мы убежали, её сразу «возьмут органы», и тогда кара за побег падёт на её голову, а может, и на головы её детей, то есть на наши с Тоней.

Этот мамин страх большим кошмаром преследовал её много лет. Должно быть, какой-то долей чувства незащищённости передалось и мне, мальчишке.

Только после смерти Сталина в 1953-м мама начнет потихоньку оттаивать, приходиться в себя.

Наталья Демидовна приняла соломоново решение – самой остаться с нами. Со своей специальностью счётного работника пятидесятилетняя наша бабушка отыскала место на кирпичном заводе Садгорода. Её там, должно быть, сразу «зауважали», потому что уже некоторое время спустя мы покинули зэкковский свой барак-клоповник и перебрались все четверо в одинокий на взгорке дом в привокзальном районе, недалеко от берёзовой рощи. В квартиру из двух крохотных, но тёплых (Господи, тёплых!) комнат второго этажа. Сказочная перемена нашей жизни.

...Опрокинут на далёком отвале последний ковш, зарево гаснет, погружая город в ещё более плотную тьму. Мы торопливо, обрывая руки о неухватистое, скользкое бревёшко, взбрасываем его на плечи. Поскорее миновать пустырь, пока небо опять не заполыхало.

15

КТО ХОЗЯИН?

Овощехранилище оказалось настоящим кладом. Да ещё так близко, под самым боком! Кто был его хозяин, мы, мальчишки, не знали. Может, железнодорожная станция?

Но хозяин существовал, потому что в начале этой зимы сорок второго окна-отдушины, в которые наметало снегу, оказались забиты досками, а двери перекручены толстенной проволокой.

Шурка подошёл к новому и такому невероятно щедрому источнику топлива с деловитостью и расчётом Робинзона, обнаружившего на разбитом корабле остатки оружейного запаса и продовольствия.

В следующую же вылазку была проведена ревизия: пересчитаны все стойки, в ряду их оказалось двадцать семь. Рядов – два. Следовательно, всего – пятьдесят четыре штуки.

Выяснилось: две ближайшие к входу стойки намертво скреплены с потолочной балкой скобами. Вырвать их на двухметровой высоте – дело дохлое. Значит, пятьдесят две. Одну мы уже взяли, ещё одну заберём сегодня, остаётся ровно пятьдесят.

Эту оставшуюся полусотню Шурка пересчитал дважды, в процессе чего обнаружил в дальнем углу такую хилую стойку, что возмутительно. Чуть не вдвое тоньше остальных. Дистрофик какой-то! Решили: хотя они её и возьмут, разумеется, но только вне счёта, халтуру стройбатовскую.

Итого – сорок девять.

Подряд вынимать нельзя, это мы соображаем, не маленькие. Но если брать, скажем, через две – третью, то ничё, нормалёк. Будем иметь шестнадцать полноценных бревёшек. И все как одно – сосна, прекрасное дерево, жаркое, сухое, под топором колкое, не какой-то там швырок из болонистой осины.

«Цельный воз!» – патетически воскликнул по этому случаю Шурка.

Если расходовать с умом, не жадничать, то хватит надолго, может быть, даже до весны.

Я дотошно напомнил, что сорок девять на три без остатка не делится, как быть с остатком? Шурка впал в раздумье, как всегда недолгое, сказал, что остатком считать ту самую дистрофическую стойку. Которая так и так законно наша!

На том и порешили.

16 ЧУЖОЙ СЛЕД

Вечерние, под покровом сгущающейся темноты, вылазки обеспечивали сносную маскировку, но имели и существенный недостаток. Выбивать стойки в крошечной тьме хранилища оказалось тяжело, несподручно. Бумага то и

дело гасла, мы суетились и нервничали, ибо каждая взятая из дому спичка была на счету.

Как-то мы остались совсем без огня, и Шурка так шандарахнулся лбом о стойку, что в первое мгновение ему показалось: его чем-то оглоушили! Он даже ойкнул «ой, мама!» и брякнулся на четвереньки.

В тот раз мы так и вернулись ни с чем. Если не считать великолепной блямбы на Шуркином лбу.

Но главное – стало отчего-то жутко и трясучка напала. Хватались друг за дружку в темноте, когда гас огонь, как полоумные, даже противно потом было. Мерещилось невесть что. Кто-то там шевелится, кто-то стоит, спрятавшись за стойками, может, жёлтенькие? Словом, ерунда какая-то, муть собачья.

Решили так: лазить в хранилище по дороге в школу, когда светло, доставали спрятанный под снегом топор и при дневном свете, проникавшем в дверь и многочисленным щели забитых отдушин, выколачивали очередную стойку, зарывали в снег. А поздним вечером прибегали и в промежутках между вспышками заводского зарева утаскивали домой – и конспирация сохранялась, и трястись в темноте от страха не надо.

Короче, всё шло как по маслу до того дня – а наступил уже февраль, последний месяц зимы – когда внезапно мы обнаружили: в овощехранилище кто-то побывал. Одна стойка исчезла! Ёлкин пень! Именно та, которую мы наметили себе на следующий раз. И взята она была с той же предусмотрительностью и расчётом – через две третья.

Может, мы ошиблись, и это наша собственная работа?

Спустя неделю мы недосчитались сразу двух стоек, по клятвенному уверению Шурки – самых толстых. И опять – через две третья. Этот расчёт, копирующий наш собственный, больше всего возмутил Шурку. Значит, не случайно заглянувший. И тоже соображает! Значит, короста, предполагает таскать и впредь!

При внимательном расследовании перед входом были обнаружены чужие следы – небольшие, не взрослого размера.

Тут уж всё, сомнения прочь, наша законная монополия нагло нарушена, так тщательно выверенная Шуркина бухгалтерия дала сбой.

Шурка кипел благородным негодованием и жаждой подловить по одному и начистить урыльники!

ТИХО! ИДУТ!

Ночью высыпал снежок, сухой и морозный, покрыл угольную копоть и сейчас, под слегка задрнутым заводской дымкой солнцем, блестел так, что болели глаза. И когда мы проскользнули в приоткрытую дверь, в первую минуту ничего не видели во тьме.

Спрятавшись за стойки, запалённо дыша — бежали через весь пустырь, боялись не успеем! — стали терпеливо ждать.

Из глубины донеслось глухое деревянное постукивание. Кажется, успели! Теперь только хорошенько приглядеться и не выдать себя раньше времени.

Глаза наши постепенно привыкли к полумраку хранилища, а там, где меж стоек струился дневной свет, было почти светло: кора стен блестя ржавчиной наледи, и полосы нанесённого снега, набившись в пазы, тоже отливали нездоровой белизной.

Дыхание унялось, текли минуты, и я, весь обращенный в слух, услышал, как над головой слабо треснуло и упал земляной промёрзший камушек.

Я поднял взгляд. Грубо ошкуренная туша балки. Слегка провисла. В том месте, где ещё недавно подпирали её стойки.

Два пустых паза ерошились мелкими хищными отщепами. Я заворожённо впился в них глазами — определить, когда появились отщепы: давно или только что, с этим треском?

Но всё было спокойно, треск не повторился.

Шёпотом позвал я жавшегося за стойкой соседнего ряда Шурку, показал кивком головы на потолок. Шурка молча и свирепо погрозил кулаком, зашипел:

— Тихо ты! Идут!

В самом деле: из дальнего, жуткого мрака хранилища, то попадая в освещённые пятна от оконных щелей, то размываясь, тяжело, с сопением двигались двое.

У меня даже зубы от волнения чакнули. Я стал торопливо отматывать от ушей очки, прятать в карман шубейки.

Шагавший первым, придерживая одной рукой на плече конец стойки, другой всё пытался запахнуть распаивающиеся полы ватника. Пар от дыхания густо клубился в лучах проникавшего света.

Это был, конечно же, Гошка Мякиш. Мы не встречали его с того времени, как перестали ходить на заледенелый шахтовый отвал.

Напарнику, горбившемуся сзади, напозла на глаза шапка, он то и дело, будто контуженный, встряхивал головой.

Я узнал и его — один из тех двух хиляков, которые во время драки меж кирзаводскими складами уволокли наши мешки с углём.

Вот она, расплата, святой акт мести! Двое на двое, силы вроде равны, но мы с Шуркой знали: на нашей стороне внезапность засады и вдохновляющее чувство собственной территории. Это должно деморализовать противника. Пока очухаются — а их уже отвалузили!

— До чего обнаглели, шмакодявки, — кипел Шурка, — из-под самого носа наше законное тягают!

Гошка Мякиш, когда на его пути как из-под земли возникли в полумраке два силуэта, опешил и стал медленно приседать — как шёл, с сосновой стойкой на плече. Будто у него от испуга отнялись ноги.

Стойка скатилась с плеча, а сам он, не удержав равновесия, завалился на неё боком.

— Морда лупоглазая, попался? — сказал Шурка и, недолго раздумывая, изо всей силы напоздал ему валенком под зад. — Держи того! —скомандовал он мне, бдительно следя за скрюченным на земле Мякишом, он знал его коварство.

Хиляк-напарник брякнул оземь свой конец ноши и рванул когти, пытаясь проскочить к выходу. При этом трусливо, омерзительно заблажил «а-а-а!», будто его уже били смертным боем. Он ловко вильнул меж стоек, увернулся от меня, вылетел из хранилища и только там заткнулся.

Я решил прийти на помощь Шурке, но тому помощи, как видно, не требовалось.

Гошка Мякиш продолжал лежать в полуобнимку с уроненной стойкой, вяло, инстинктивно прикрывая лицо согнутым локтем — ждал удара.

Странно, он не пытался ни бежать, ни даже активно сопротивляться. Совсем непохоже на обычно агрессивного Мякиша!

— А ну подымайсь! — Шурка схватил его за концы ворота, с силой дёрнул вверх. Бить лежачего было несподручно да и противно как-то.

Мякиш от рывка невольно оказался на коленях. Тело его было покорным, как мешок. Ватник распахнулся, мелькнул голый под заголившейся рубашкой живот, втянутый то ли от холода, то ли от всё ещё переживаемого испуга.

Шурка уже хотел ему врезать так, на коленках, но Мякиш успел перехватить его запястья своими драными матерчатыми рукавичками, глядел снизу вверх затравленными и какими-то жалкими глазами, бормотал: «Пусти куфайку, падла... пусти куфайку, говорю...»

Кто бы поверил, что этот жалкий сейчас человечиска – гроза всего Точилинского района и имеет на своём счету четыре привода!

Шурка вырвал, высвободил свою правую руку и, распаяясь, видя, что злость уходит, а чувство мести остаётся неудовлетворённым, с возгласом «Долго мне с тобой чикаться?» – заехал Мякишу в ухо. Слетела шапка. Мякиш ойкнул и, зажав варежкой ухо, сел на пятки, скорчился.

Распахнулась на весь проём дверь в хранилище. Точилинский хляк, который, видать, всё же не решился совсем бросить своего товарища, крикнул издали, с порога:

– Не бейте его, у него отца убили!

Поднялся на ноги и сгорбленно пошёл Мякиш при полном оторопелом молчании своих расступившихся недругов. Его латаные валенки, подшитые смёрзшимся на морозе брезентом, громко, с присвистом шаркали по земляному крошеву пола.

Шурка хмуро стоял, прижимаясь лопатками к стойке, стряхивал с рукава неизвестно что. Я догнал и сунул в руку Мякишу его упавшую шапку.

Тот надвинул её неловко одной рукой на стриженный затылок – другая, как всегда, была занята полами ватника. Большой, крепко сжатый рот его потянуло в гримасе, но он и на этот раз сдержался, не выжал слезы.

Пискнула ржавыми петлями дверь. Хлопнула. Ушёл. Тишина.

С минуту мы стояли не двигаясь. Я поднял взгляд на друга. Тот продолжал отряхивать рукав, будто важнее занятия сейчас не было.

– Ладно, – сказал я, – чего там, не переживай. Помнишь, как они нас?

– А я и не думаю, с чего взял! – вызывающе ответил Шурка.

– Конечно, ты же не знал...

– Чего не знал? – щетинился тот.

– Ну, что его отец... что его отца...

Шурку аж передёрнуло, лицо мгновенно оказалось невесть откуда накотившей озлобленностью, он крикнул:

– Заткнись, очкарик несчастный, а то и тебе врежу!

– Я-то при чём?

– А при том!

– Чего орёшь-то?

– Ничё! Вали от меня! Надоел! – и Шурка так поддал пяткой брошенную точилинскими стойку, что та крякнула, покатила. Перепрыгнув её, он решительно пошёл, потом побежал к выходу.

Я смотрел ему в спину. Вот и пойми его. Никогда я не видел друга таким. Но я знал: Баздыревы вот уже два месяца не получают с фронта писем.

18

ОБВАЛ

Проходя тропинкой в школу, мы увидели: в белой, свежеснеженной крыше хранилища, которая одним своим скатом сравнялась с косогором, зияет огромная рваная дыра.

Ёлки-моталки! Обвал!

Не сговариваясь, кинулись ко входу, чтобы посмотреть изнутри, в каком же это месте?

Мне казалось, сломало ту самую балку, где мы стояли, карауля точилинских. Шурка, защищая свой авторитет, утверждал другое: крыша обвалилась именно там, где орудовал со своим напарником наглючий Гошка Мякиш.

Но увы, дверь оказалась вообще заколочена. Плотницкими скобами! Четыре железные стёжки намертво прихватили её к косяку. Причём верхняя – не дотянешься. Работа посильная лишь взрослому. И не раньше как вчера, потому как позавчера мы туда ещё лазили, и никаких скоб не было в помине.

Шурка так был расстроен новым подлым обстоятельством, что даже не хотел идти на уроки. «Там же ещё две наших законных стойки...» – бормотал он, оглядывая со злобой и ненавистью заколоченную скобами дверь.

С такой же ненавистью и осознанием собственного бессилия он, помнится, смотрел на залитую льдом пирамидоподобную гору террикона.

Бросив портфель на снег, Шурка стал карабкаться, увязая выше колен, сначала на косогор, с него – на толстую крышу хранилища.

– Куда, загремишь! – кричал я ему.

– Не, я тихо, по краешку, я только позырю!

Он подполз на четвереньках к провалу, заглянул. Следом, тоже снабемый любопытством, подполз и я.

Мы лежали, вглядываясь в рассеянную жуткую темень дыры, «зырили»:

расколовшийся от удара пласт мёрзлой глины;

торчащие жёлтыми изломами обрушенные горбыли и плахи;

смердный дух подземелья, ощущаемый здесь, над дырой, почему-то резче и тошнотней, чем в самом хранилище.

Один из горбылей, свесясь, концом почти касался островерхой груды ссыпавшегося через провал снега. Шурка перекатился ногами к провалу, попинал зачем-то сучкастый горбыль валенком.

19 НЮСЬКА

После школы, сделав все хозяйственные дела по дому, я спустился к Баздыревым.

Тётя Галя была во вторую смену. Шурки тоже не оказалось. Куда он успел усвистать, Нюська объяснить не могла, не знала.

Она сидела поверх одеяла на железной кровати, толсто одетая в пальтишко, перетянутая, как кукла, крест-накрест шалью, в валенках и рукавичках. Держала растопыренными руками игрушку – на двух палочках деревянные фигурки мужика-дровосека и медведя. Подвигаешь палочки туда-сюда, и фигурки начнут колотить попеременно топориками по пню, как бы дрова рубить.

Время от времени личико её натужно краснело, она заходила в продолжительном приступе кашля. После чего, почмокав губками, как ни в чём не бывало продолжала прерванное занятие.

Посреди комнаты на табурете, на двух кирпичах, калилась малиновой спиралью присоединённая проводом прямо к потолочному патрону электроплитка – помогала теплом дохло.

Я присел перед Нюськой на корточки, спросил деловито:

– Нюсь, а Нюсь, ты чего так оделась, за сеном поехала?

Эту шутку, позаимствованную у своей бабушки, я говорил девочке всякий раз, и та всякий раз серьёзно и терпеливо отвечала:

– Меня Шуик одел, сама я никак. – И нежное облачко дыхания отлетало от её тугих, как бы перетянутых ниточками полненьких губ.

И на этот раз она ответила так же и, наклонив личико, сосредоточенно зашмыгала палочками. Дровосек и медведь уныло, безрезультатно замахали деревянными топориками.

Кровать со сползшим до полу одеялом придвинута к стене, которая от кухонной печи нагревалась, но печь, видать, давно погасла. Я потрогал ладонью стенку – так и есть, чуть жива.

Жестяная помятая углярка на кухне – пустая. Гортоп давно уже не отоваривал талонов. Тёте Гале как жене фронтовика с великими сложностями выписали двести килограммов угля с депоовского склада, но депо само село на аварийный запас, и там сказали: выдадим, когда пополнимся. А когда пополнятся?.. Это – уголь, а дрова – и говорить нечего. Их не было и на складе депо, загашенные на время ремонта паровозы растапливали старыми шпалами.

Девочка зашла в безудержном кашле.

– Нюська, – сказал я, подождав, пока она утихнет, – хочешь в гости к нашей бабушке?

– Хочу-у! – протянула та и бросила игрушку, зашевелилась в попытке сползти с кровати на пол.

Она знала: в гостях её обязательно разденут, освободят от этой колючей толстой шали, которая так мешает кашлять, снимут пальтишко и варежки. Там не надо сидеть в одиночестве, скованной запретами: туда не лезь, этого не трогай, к плитке – ни боже мой, а на горшок захочешь – терпи, жди Шурика или маму, а в застывшие окна ничего не видать. И когда эта противная зима кончится?..

– Бабушка, – крикнул я с порога, – пускай Нюська у нас побудет, дома у них никого и холодрыга, как в леднике.

Бабушка, выглянув из кухни и увидев у порога маленькую гостью, заторопилась к ней, опираясь на табуретку, стуча о пол.

– Конечно, пусть. Конечно. – Она подсунула под себя табуретку, села, принялась развязывать на девочке узел. – У нас тоже не Крым, но снять все эти хламиды можно. На тебе тёплые штаники есть? (Девочка закивала: есть, есть.) Вот и ладно, оставим. И валеночки оставим. Так вот. А остальное долой. Бог мой, кто тебя так заматал, неужто мама?

– Нет, Шуик.

– Ах он, Шурик, нехороший мальчик, – заприговаривала бабушка, крутя Нюську, освобождая от лишних одежек. – Разве можно так маленькую девочку заматывать?

– Нет, он хо-оший.

– Хороший? Ну, конечно, хороший, кто же говорит, что нет. Мамкину кофту тоже долой.

– И я хо-ошая.

– И ты, кто сомневается. Ты лучше всех. Чем это он тебя подпоясал? Ах скакалкой... А почему ты хорошая?

– Ма-енькая и не па-ачу.

– Вот и умница, что не плачешь. А зачем плакать? Плакать – это нам с тобой распоследнее дело.

Нюська потрогала пальчиком её перетянутую полотенцем ногу, сказала:

– И ты не па-ачешь.

– Нет, как видишь, я же большая.

– А вот мама бо-осая, а па-ачет.

– Мама? – бабушка озадаченно посмотрела на девочку, потом, передав мне, стоявшему у порога, пальтишко, чтобы повесил, спросила: – А... почему она плачет?

– Угает Шуика и па-ачет.

– За что ругает?

Нюська приподняла остренькие плечики: не знаю, мол, и тут увидела в дверях комнаты кота. Кот, грациозно вытянувшись, драл когтями косяк. Лёгкая и радостная побежала к нему, запрыгала: «Басик, Басик!»

– Ладно, пошёл, – буркнул я.

– Долго не пропадай, за уроки-то ещё, по-ди, не садился, – сказала бабушка и вздохнула чему-то.

20

ТАНКИ НЕМЕЦКИЕ НА ПЛОЩАДИ!

Во дворе – никого из ребятни, однако за уцелевшими ещё сараями и стайками, за ларями, в той стороне, где помойка, я заметил Кузю Шишигина. Я прошел за лари.

Кузя держал руль самоката, к которому вместо колёс приделаны коньки-снегурки. Самокат Шурки Баздырева. Тот сколотил его из двух дощечек ещё прошлым летом, и мы с ним здорово катались поздней осенью по льду шахтных провалов, пока их не занесло снегом.

Во дворе кататься негде, одни грязные снежные кочки, а здесь, вокруг общественной помойки, растекающаяся мутная вода образовала морщинистую корку с вмёрзшей картофельной кожурой, кусками шлака, бутылочными стёклами. По ней-то и пытался, неуклюже лавируя, кататься незадачливый Кузя.

– Шурка где, не знаешь? – спросил я.

– Не-е... не знаю! Недавно тут был. – Кузя суетливо отталкивался одной ногой, чуть не падал, наезжая на препятствия. – Хошь прокаться?

– Чё это ты чужим распоряжаешься?

– А он теперь мой.

– Как это – твой?

– А вот так, обнакавенно!

– Насовсем, что ли?

– А ты думал!

Я озадаченно помолчал: что-то тут не то. Не мог Шурка вот так, за здорово живёшь, отдать самокат этому чесуну, у которого сестра каким-то там пузатым начальником; у него, у Шурки, и поприличней друзья найдутся.

– Чесун несчастный, брякало, – сказал я на всякий случай.

Кузя вильнул, самокат съехал с грязного льда, ткнулся в снег, Кузя упал.

– Сам чесун! Сам брякало! Хочешь знать, мы с ним четыре охапки дров из нашей стайки к ним перетасили, понял? Съел?

– Четыре? Шкура ты, Шишига, и живоглот. Такой самокат десять твоих вшивых охапок стоит.

– Ага, десять, обзарился! Десять – мать враз усекёт и такую кричалку устроит, не знаешь куда бежать.

«Это уж точно», – подумал я.

Мать Кузи, Полина Гавриловна, самая, пожалуй, скандальная женщина во всём нашем многоквартирном доме. Она нигде не работала, была обременена большим семейством – четырьмя своими детьми и двумя приёмными – своего брата, арестованного как врага народа ещё перед войной.

Держались многочисленные Шишигины (подворовому – Шишиги) лишь на старшей сестре, начальнице мелкосортного цеха комбината, назначенной на эту должность в первые же военные месяцы.

Когда Полина Гавриловна говорила (особенно когда кричала), рот её уползал косо в сторону, за что и получила она уличное прозвище Косоротиха. Вся ребятня двора её побаивалась. С Кузей и другими мелкими Шишигами старались не связываться, знали, свяжешься – кричалка обеспечена.

Кузя озабоченно склонился над самокатом.

– Один-то конёк подломан, – сказал он.

– Будешь по помойкам гонять, выдрючивать – и второй подломаешь.

– Не бойсь! – сказал Кузя. – А мы вчера с сеструхой возле заводоуправления были, на площади!

– Ну и что?

– Ты разве ещё не знаешь? – Кузя бросил самокат и с раскрасневшимся от тяжёлого катания лицом подбежал ко мне. – Там же... там немецкие танки выставили, с крестами! Пушки! Одна даже зенитная!

– Вот трёкало, – не поверил я. – Как это – выставили?

– А вот так, обнакавенно. Чтоб все смотрели. И лазить в серёдку можно сколь тебе влезет!

– И ты лазил?

– А ты думал! И крутить чего хочешь. Огольцы на пушку верхом рассядутся, а ты колесико тако, с зубками, за ручку покрутишь – башня – р-р-р! – поехала!

– И ты крутил?

– Дурак, я на пушке сидел!

– И не гоняют?

– Да говорю тебе – смотреть выставили, как наши ихних там колошматят, сеструха говорит, это спицально, понял? В одном – во-от така дырень от нашего снаряда. И воняет в этих танках, как в уборной, чесно пионерско! – радостно, что первым доносит мне столь волнующую новость, кричал он.

По всему, Кузя сегодня говорил правду – так достоверно врать он не умел. Эта вторая его новость, насчёт танков на площади, заслуживала внимания не меньше, чем первая.

Но ёлкин пеня! Куда всё же подевался Шурка?

Я уже хотел вернуться домой – противно же всё время смотреть на счастливого своим жлобским приобретением Кузю и тем, что ему первому из мальчишек двора удалось посидеть на немецком настоящем танке, – хотел вернуться, но наконец увидел Шурку.

Тот вывернулся из-за дальнего угла дома, пальто по самые плечи в снегу, уши матерчатой шапки с узловатыми завязками вздыблены, пуговица на пузе висит на нитке, кувыркнулся откуда, что ли?

– Ты чего? – удивленно спросил я.

– А чего?

– Куда носился-то? Нюска у нас сидит.

– Ладно, харэ, пусть сидит, погода заберу. – Шурка заговорщицки оглядел двор, однако даже пустынность его не показалась ему надёжной, бросил коротко: – Айда к нам. – Но не выдержал и уже в подъезде зашептал, сбивая с себя на ходу снятой шубинкой снег: – Я сперва и так, и саяк, и ногами его, и всяко, а он курнётся – и кон-

цом обратно вверх. Зараза! Ладно, думаю, спускаться стану – ляжет как миленький. До половины сполз, всё брюхо по сучьям ободрал, а сверху глыба снега мне по горбушке ка-ак...

– Погоди, ты что, – я приостановился даже. – В хранилище лазил?

– Ну, законно!

– Через провал?!

– Тише, чего орёшь! А через чего же ещё? Да это запросто, оказывается, ты не думай. Правда, жуть там одному, аж в брюхе щекотит... Я постоял и по горбылю обратно. А еслив двое да прихватить верёвку... Соображаешь?

Дома он сразу же, как был – в пальто и шапке – сел чистить картошку, сказав, что пока Нюска нет, надо всё приготовить для супа и поставить на плитку, пусть варится, а потом, поближе к ночи, когда мать со смены вернётся, растопить печь.

– Шишигинскими дровами? – съязвил я: невысказанная обида за самокат ещё не прошла.

– Ага. Кузя небось вякнул?

– Кто же еще!

– Понятно... А ведь железно предупредил – никому! Ну, гад ползучий, самому же, чуть чего, хуже будет.

Я прошёл в комнату, подобрал Нюскину игрушку, потянул за палочки. Глупые фигурки покорно вскинули деревянные свои и такие же глупые топорики.

– Кузя болтает: на площади танки немецкие выставили, – сказал я. – Расколошмаченные.

Шурка плюхнул очищенную картофелину в кастрюлю, коротко отозвался:

– Знаю.

– И молчишь?

– Да я тоже только сёдня узнал, от Шишигов же.

– Ну и чего? Скатать бы на трамвае.

– Законно, – согласился Шурка. – Послезавтра, а?

– Послезавтра? С чего это?

Шурка на кухне помолчал.

– Завтра найдётся дело поважнее, – сказал он.

– Какое ещё дело? – недовольно переспросил я, хотя прекрасно понял, что имеет в виду приятель.

– Такое, немазано сухое, – буркнул он, сгорбившись над кастрюлей.

Он чувствовал – я снова напрашиваюсь на ссору, и не хотел её.

«ОБОЛТУС НА МОЮ ГОЛОВУ»

Помолчали оба. Игрушка, которую я вертел в руках, чем-то раздражала меня, но я продолжал машинально дёргать палочки: глупый дровосек и такой же глупый медведь наперегонки колотили по пню, и была в их безрезультатных движениях какая-то обречённость.

– Ладно, – сказал Шурка, – наверху посидишь, а я спущусь. Одному-то как вытащить?

– Не хочу сидеть! Не буду! Боюсь! Зацапают! – не сдержавшись крикнул я.

– Не зацапают.

– Зацапают!

– Кто – балда?

– Не знаю. Кто дверь скобами заколотил!

– А кто заколотил?

– Почём я знаю!

Шурка, поддёрнув рукав пальто, запустил руку в грязную воду, посчитал на ощупь оставшиеся картофелины, сказал:

– Ты же наверху будешь, чуть чего – крикнешь, смоемся в рощу.

– Не смоемся, зацапают!

– Задолдонил одно! – сказал Шурка, явно теряя терпение. – Ну, хочешь – поклянусь? Возьмём две законных своих – и всё, баста. Больше туда ни ногой. Гадом буду. Голову на отруб. У меня новый план есть.

– Надоели твои планы! Лезь один, понял?

Лицо у Шурки приняло вдруг озлобленное выражение, медленно, сквозь зубы он произнёс:

– Конечно, зачем тебе куда-то лазить, чего-то доставать. Вам наверху хорошо жить, у вас тепло. Нашим снизу подогревается.

От такого наглого обвинения я аж поперхнулся:

– Это мы-то – вашим?!

– Вы-то! Самые! – язвительно усмехнулся Шурка, но глаз от ножа и картошки не оторвал, не поднял.

– Да у вас... у вас вечная холодрыга! Волков морозить!... А если один полезешь... – уже не кричал, а орал я, – тёте Гале скажу, куда ты хочешь лезть, так и знай! – и, швырнув на кровать дурацкую игрушку, кинулся к дверям.

Шурка, плюхнув в кастрюлю нож с недочищенной картофелиной, метнулся за мной, успел схватить за шиворот, притиснул к стене.

– Только попробуй! – зашипел он мне в лицо. – Я тебе, очкарик, все очки расколочмачу...

– И попробую! Не указывать!

– Ах, так...

И не миновать бы нам жестокой потасовки, бессмысленно нанесённых взаимных обид, но здесь случилось совсем уж непредвиденное. За дверями, на лестничной площадке, раздалось какое-то грохотанье, будто волокли что-то по ступенькам, высокие голоса – дверь в квартиру Баздыревых распахнулась без стука. За порогом стояла женщина – мешковатое клетчатое полу-пальто, голова по самые щёки в тугом платке, поверх платка плюшевая шапка. В одной руке тасила она за руль, как нашкодившего щенка за ухо, Шуркин самокат на снегурочках, а другой – держала крепко за руку упиравшегося несчастного Кузю.

Мать Кузи – Полина Гавриловна – Косоротиха!

Мы с Шуркой враз, как по сигналу, опустили руки, ошеломленно отступили друг от друга, попятясь, сразу оценив серьёзность возникшей ситуации.

Мы также поняли: одной кричалкой дело не обойдётся, тут пахнет бóльшим. Подлый Кузя!

– Матерь дома? – Полина Гавриловна крепко пристукнула самокатом об пол, с присвистом тяжело задышала.

Шурка молча набыченно крутнул головой: нету.

– А когда придёт?

– Придёт!

Тут же большой рот её вместе со щекой косо пополз в сторону, под самый платок, она закричала, будто через улицу:

– Отворяю стайку и глазам своим не верю: дровяная обрезь-то усохла! А замок целёхонек! Господи, целёхонек! И стоит вот эта... рогатина! – Полина Гавриловна снова энергично брякнула самокатом, оглянулась и так дёрнула Кузю за рукав – с того, бедного, чуть не слетела ушанка, он заскулил на всякий случай. Она же спросила его тем же пронзительным голосом: – Ты, поганец такой, выискивал эту обрезь? Ты город выбегивал? Очереди на дозовские склады выстаивал? Спину-горбину на погрузках ломал? За подводу последние рублики выкладывал? Я кого, стервец, спрашиваю? Отец на фронте голову кладёт, а ты тут наши с сестрой труды на игрушки расфуговываешь? Подворачиваются тебе, простодырому, всякие пронырлы, дурют тебя как хочут, а ты рад... Все дети как дети, а

этот – наказание. Погодь, сестра вечером придёт – она кудерцы твои живо расчешет! А ты, Баздырев, – повернулась она к Шурке, – забирай свою рогатину и вертай обрезь назад, всюё до шшепочки, не то заявлю куда следует!

Шурка отступил к кухонному проёму, буркнул вызывающе:

– Нету у меня никакой обрезки!

– Как это – нету?

– А вот так – нету, и всё. Сгорела. Бобик сдох!

Полина Гавриловна решительно отстранила Шурку с пути, прошла на кухню. Пустая углярка, пустой, заставленный посудой припечек, холодная, явно нетопленная сегодня плита.

– Врёшь, кудысь затырил? Где-нить в сумёт закопал? – она знала, что Баздыревы давно порубили свой ларь на дрова. – Ну я и под снегом найду, всех на уши поставлю. Я свою обрезь с закрытыми глазами узнаю! Кудысь затырил?

– А вот тудысь! – наглед Шурка.

– Глянь ты, ещё дражнится, – изумилась та. – Ей-бо, заявлю!

– Да сколь влезет! Испугался!

На меня эта сцена произвела самое мрачное впечатление: ну и везёт же Шурке! И сейчас хотелось хоть как-то уесть Кузю – за его трусливое предательство: коль выменял и попался, так хоть молчи честно. Я сказал:

– А конёк-то у самоката – подломан, а был целый.

– Неправда, он сроду такой был! – прервав на секунду нытьё, выкрикнул Кузя, но на его жалкий выкрик никто не обратил внимания, даже мать, она сказала:

– Когда так – я вот сяду тут и буду ждать мать. Я своей правды добьюсь, не то нынче время.

С этими словами она в самом деле повернула скамейку одним концом на середину кухни (кастрюля с картошкой при этом чуть не упала, вода плеснула на пол), села и распустила узел платка – как бы подтверждая этим жестом серьёзность своего намерения.

То был верно рассчитанный шаг, от которого Шурка сник, растерялся.

Не хватало, чтобы она действительно досидела до прихода матери со смены и ещё ей, продрогшей и усталой и, как всегда, раздраженной от усталости, устроила кричалку.

Минут пять протекло при всеобщем напряжённом молчании. Ангелы в этом молчании

не пролетали, точно. Лишь слабо довсхлипывал под входной дверью своё, заработанное, Кузя.

Шурка нервничал, кусал ноготь, ища выход из создавшейся, весьма чреватой последствиями ситуации.

И тут произошло совсем уж такое, чего не мог ожидать ни Шурка, ни я, ни тем более Кузя, лучше других знавший свою вечно крикливую, заполошную по всякому поводу мать.

Полина Гавриловна заплакала...

Причём как-то незаметно, без голоса – только глазами и некрасивым своим скособоченным ртом. Она будто забыла про затихших в своих углах нас, мальчишек, про дело, которое привело её сюда, в эту чужую холодную, нетопленную кухню с пустой угляркой.

Сидела, ссутулившись клетчатой спиной. Слезы кривыми блестящими дорожками скользили по её уже немолодому, курносому, поблёкшему лицу.

– Господи, – тихо, самой себе сказала она и стала сморкаться, дуть в платок, – и когда же эта клятая война кончится? Когда же я смогу сдохнуть от всех спокойно... Нет сил жить...

Шурка засопел, оттолкнулся от косяка, где до этого стоял в позе человека, с которого взяли гладки, шагнул решительно в комнату.

Опустившись перед кроватью на четвереньки и откинув спущенное низко одеяло, принялся энергично и зло, даже с каким-то вдохновением, выбрасывать оттуда обрезки досок, короткие струганные бруски, клинья – словом, ту самую, честно выменянную у глупого Кузи, обрезь.

И всё это с деревянным грохотом, со всякими словечками, за которыми он никогда в карман не лез.

Я во все глаза смотрел, как друг выгребает спрятанное под кроватью, подумал: мне никогда бы не пришла в голову подобная предусмотрительность.

И с таким другом я рассорился...

– Забирайте свои вонючие обрезки! – фырчал Шурка. – Не было дров и это не дрова... А ты, Шишига, за сломанный конёк ответишь!

Я видел прекрасно: Шурка, конечно же, покревил душой, назвав дрова вонючими обрезками. Дрова были законные – сухие, и колоть почти не надо. Но переступить через свою обиду (а Шурка переступил, сделка-то была добровольная) – разве это не стоит какой-то пары слов, сказанных в сердцах, от души?

* * *

Назавтра, догнав по дороге в школу Шурку, — тот впервые, кажется, ушёл без меня, один, — я сказал примирённо:

— Слышь, чего там... давай слазим. Только чур — последний раз, как обещал, — добавил я тут же.

— Куда? — как бы не поняв, переспросил Шурка хмуро.

— Забыл, что ли? В хранилище.

— Да уж не забыл.

— Ну вот. У нас дома и верёвка есть — длинная. Я уже притырил.

Шурка шёл не оглядываясь, вчерашняя ссора, видать, ещё крепко сидела в нём.

Некоторое время шагали молчком. Шурка впереди, я — чуть поотстав. Тропинка нырнула в рощу. По макушкам берёз прыгало с противным карканьем вороньё, осыпая с веток снежный сверкающий бус.

— Одному через дыру — знаешь как кожिलиться придётся, — сказал я.

— С Анютой Курочкиной сговорился. Подможет, — бросил не оглядываясь Шурка.

— С девчонкой? — я был уязвлён.

— Ничё, как-нибудь. Силёнок у неё, может, и не столь, зато не из трусоватых, как некоторые. И не сбежит чуть чего.

22 АНЮТА

К хранилищу мы подошли все трое гуськом, последней — Анюта с маминой муфтой на шее, тащила за собой для блезиру санки, которые должны маскировать наше предприятие: кататься отпраздничать, чего такого.

Было солнечно и морозно, ветрено. Крошки угольной гари шустро катились по глади снега, скапливаясь в ямках и бороздах, в лунках торчащих бодыльев, отчего снежный пустырь имел вид плохо постиранной холстины.

Над рощей с бранчливым звонким гвалтом вскидывались горстью камешков вороньи стаи — верный признак того, что зиме приходит конец.

К провалу подползли на четвереньках, по старому, нами же накануне оставленному следу. Попеременно заглянули в тёмную, мрачную, разбойную глубь. Хаос земляных и снежных комьев, торчащих сломанных концов, повисшие, как волосы утопленниц, смёрзшиеся бурьянные стебли.

— Ой, мальчики, умру, — с тихим восторгом страха пропела Анюта, птясь.

Я же, заглянув в черноту провала, небрежно плюнул туда, но губы мои на ветру замёрзли, плевка не получилось. Я смущённо вытерся рукавом.

Шурка действовал как человек, уже преодолевший однажды этот путь — деловито, споро, с чётким знанием каждого своего шага. Прежде всего он кинул вниз топор, и топор мягко, бесшумно воткнулся в снеговой конус. Опустил ноги в дыру, нашарил на склонённом горбыле сучок, стал сползать вниз.

Голова в шапке с задранными, смешно качающимися синхронно ушами скрылась. Последнее, что видели мы с Анютой, это цепляющуюся Шуркину руку, голое красное запястье — между рукавом и шубинкой, но вот и рука исчезла.

Я подполз ближе, Шурка стоял уже внизу, вытаскивал увязший глубоко топор. Глянул вверх, махнул: ждите, как договорились, да зырьте в оба!

Всё-таки нам повезло — на нашем скате крыши затишек, ветер снежно вихрит только гребень, не то бы мы с Анютой мигом околели.

Мы лежим на боку, скорчившись (вставать нельзя, вдруг узырят?), лицом друг к дружке, но так, чтобы не выпускать из виду тропу. Анюта, спрятав руки в облезлую свою муфту, а я — в собственные подмышки. Головы наши почти касаются.

Странно: Анюта телом худая, как балалайка, ноги даже в стежёных чулках, как спички, а лицо при всём том — кругленькое, с тугими и как бы припухшими бровками, вблизи нежное и чистое, точно молочная пенка. А вокруг зрачков колечко золотистых крапинок — чудно!

Снизу послышались глухие медленные удары. Это Шурка усиленно выбивал стойку. На слух трудновато понять, в каком углу он орудует.

Наверное, всё-таки справа, дальше от входа, там ещё оставались стойки из тех, давно намеченных.

Пар от нашего дыхания смешивается, на ресницах Анюты в солнечном луче вспыхивают кристаллики изморози. Они с матерью эвакуировались из шахтёрской Макеевки в самый последний день, под страшным обстрелом, почти ничего не прихватив из вещей, а жили хорошо, отец у Анюты был шахтёр, и Анюта имела даже свой велосипед с фарой на руле и динамой на колесе. Этот за так брошенный велосипед пуце всего поразил наше мальчишечье воображение. Как можно бро-

свить такую вещь – велосипед! – которого во всём нашем дворе ни у кого не было.

Анюта повидала мир – купалась с родителями в Азовском море, плавала на настоящем пароходе, была даже в Москве, в зоопарке, наконец, проехала эшелон беженцев полстраны. Видела разорванного бомбой человека, чуть не сгорела в хлебах, куда они с матерью спрятались от бомбёжки – словом, в свои тринадцать лет узнала много такого, чего нам с Шуркой и не снилось.

Задаваться, однако, она не умела, охотно откликалась на просьбы, необидчива была. Стойко на удивление переносила сибирский мороз, не болела вроде ни разу, хотя одёжку её на рыбьем меху просвистывало, должно быть, насквозь...

Я даже не думал, что у девочек могут быть такие глаза, главное – такие золотистые в глазах колечки...

– Ты чего смотришь? – спросила вдруг Анята, бугорки бровей ее сдвинулись.

Я смутился:

– Ничего я не смотрю, с чего взяла?

– Нет, смотришь, я вот не смотрю, а вижу, что ты смотришь.

– Руки чего-то защипало, – бормочу.

– А ты совай в мою муфту, тут места всем хватит.

– Ещё чего...

– Ну и мёрзни, волчий хвост. – Анята подняла голову, насторожилась. – Ой, кажется, Шурик там...

Я подкарабкался на четвереньках к провалу, заглянул.

– Вы чё там, оглохли? Кричу, кричу... – закрикнув раскрасневшееся лицо, ругался внизу Шурка. – Давай верёвку, по-быстрому.

О верёвке я совсем забыл! Торопливо растегнул на груди шубейку, вытащил моток бельёвого шнура, стал разматывать. Шнур как назло путался, сбивался в ком, так что пришлось снимать рукавички.

– Быстрее там, чё телишься? – неся из провала нетерпеливый Шуркин голос.

– Запуталось здесь... – бормотал я, шевеля плохо гнущимися, заоченелыми пальцами.

Но здесь на помощь мне пришла Анята. Она быстро, сноровисто раздёрнула клубок, расправила шнур, и мы один конец его бросили вниз. Шурка привязал его крепко за головку стойки, скомандовал: «Пошёл! Тяни!» Сам докуда мог помогал снизу.

Я и Анята, стоя на коленях, дружно потащили.

Сталкиваясь плечами и локтями, перехватывая выскользящий, сразу залипший снегом шнур, мы отчаянными рывками выволокли стойку наверх. Потом по уклону крыши скатили вниз, засыпали, запинали снегом.

Нам сразу стало жарко. У меня замутнели очки, и от предельного напряжения мышц всё внутри тряслось целую минуту.

Я вернулся к провалу, чтобы сказать Шурке – всё в порядке, шито-крыто, но того внизу уже не было.

Слышался снова тягучий стук, теперь как будто с другого конца хранилища, со стороны заколоченного входа.

Почему со стороны входа? Там уже давно взято! Или виной всему подземное эхо?

Схлынуло возбуждение, и я ощутил, как горят мои обожжённые шнуром ладони: в суете со шнуром я позабыл надеть рукавички.

Сейчас я не стал отползать далеко от провала, чтобы Шурка не ругался. Перед Анятой неудобно, и вообще. Всё-таки я чувствовал некоторую неловкость, что торчу здесь, наверху, вместе с девочкой, как какой-нибудь сачок, а Шурка один мордуется там, в полусвете хранилища, один подтаскивает почти двухметровую стойку к дыре.

Анята с порозовевшими щеками, дыша, прилегла чуть ниже, довольная тем, что участвует в таком важном предприятии, и не без ощутимой пользы, – мальчишки должны оценить.

На этот раз Шурка возился что-то очень уж долго.

Размеренные удары, которые то прерывались, то возникали снова, отдавались в моей душе всё большей тревогой.

Тропа через пустырь и рощу пока удачно пустовала, но не может же она пустовать бесконечно, кому-то понадобится пойти! И тогда нам с Анятой придётся как-то изворачиваться, изображать катание на санках, что ли, что само по себе здесь, на заснеженном пустыре, выглядело бы глупо.

Но вот в глубине наконец раздался шум и пыхтение, показалась скрюченная фигурка, волюющая стойку.

– Чего сам-то телишься, побыстрее не можешь, что ли? – опустив голову в дыру, упрекнул я его.

– Не выбивается, зараза, – сказал Шурка, тяжело дыша, садясь прямо на земляной пол. –

Сперва как спички падали, а счас приходится лупить, аж в кишках трещит.

- Ты разве в том конце берешь?
- Ага. А чего?
- Да слышно – как бы в этом, у входа.
- Не. В дальнем.
- Темно там?
- Да уж вроде пригляделся.

Наверх вторую стойку мы подняли так же успешно, как и первую, только узел на шнуре затянулся – не развязать, и я предложил забросить стойку снегом вместе со шнуром, всё равно сегодня больше не понадобится. Однако Шурка внизу думал иначе.

– Давайте развязывайте, – крикнул он, – я ещё выколочу.

- Мы же собирались две!
- Отскочь! Нам с тобой надо, а Анюте не надо, да? И потом...

– ...и потом у вас не жрёт, а у нас жрёт, – тем же тоном закончил за него я. Мне почему-то захотелось при Анюте быть остроумным, находчивым.

Шурка внизу неожиданно рассмеялся:

– Верно, зараза! Так отвязывайте в темпе, я ещё за одной – и харэ!

Узел затянулся вмертвую. Не поддаётся, хоть плачь. Заледенел. Я впился в него зубами, но и зубы не помогли, только занули от холода. Я оглянулся на Анюту:

– Может, ты?

Анюта с готовностью сняла рукавички, сунула в муфту, присела над бревёшком. Пальчиками с круглыми чистыми ноготками стала щипать узел.

– Да нет, зубами.

Она нерешительно склонилась, куснула раз, другой:

- Нет, Толик, тоже никак.
- Дай-ка тогда я ещё попробую, – сказал я, отстраняя ее, и неожиданно увидел на обмусоленном узле кровь.

- У тебя что, зубы болят? – удивился я.
- Это дёсны, – смутилась Анюта.
- Значит, у тебя цинга, – сказал я авторитетно. – При цинге всегда из дёсен кровь. Витаминов не хватает.

Анюта вытянула шею, проговорила с беспокойством:

- Опять Шурика не услышим.
- Счас, погоди. – Я ещё раз приложился к узлу зубами, но тщетно.

– А, чёрт с ним, у Шурки же топор, возьмём перерубим – и все дела.

Мы закидали вторую стойку снегом, вскарабкались по скату и легли на живот, заглядывая в рваный зев провала, вслушиваясь: там стучало.

– Доживём до весны, – сказал я, – начнётся в нашей тайге колба – она самая первая начинается – мы с Шуркой тебе целую охапку притащим, ешь скольк влезет.

Анюта промолчала.

- Ты ела колбу?
- Нет.
- Никогда что ли не ела?
- Нет.

– Ёлки-моталки, такой дикий чеснок! От цинги мировое средство. Совсем тут рядом, на пригородном – четыре остановки.

Анюта вздохнула, прилегла щекой на муфту. Прядка волос выбилась ей на бровь:

– А моя мама говорит: кто эту зиму переживёт, тот и войну переживёт.

– Ну, мы-то переживём, – сказал я. – Это вот на фронте которые... – Я поглядел в сторону роши, на тропе между деревьями что-то тревожно мелькало. – Идёт кто вроде, что ли?

– Да это вороны прыгают, – сказала Анюта и дунула, сделав губу ковшиком, чтобы сдуть прядку.

– Вам отец пишет? – спросил я. При этом мне ужасно хотелось помочь ей справиться с прядкой.

– Нет. Он у нас пропал без вести. – Анюта высвободила руку, стала засовывать волосы под шапку. – Но это неправильно.

- Что – неправильно?
- Что пишут: пропал без вести. Пропал – значит, умер, убит, нету больше на свете, так?
- Ну, вроде...

– А надо: потерялся. Это большая разница. Вот мой папа – потерялся. Но он найдётся, понятно?

Я с уважением покосился на девочку. Я впервые слышал от своей ровесницы такие разумные, взрослые речи...

...Приглушённый хряск тяжко, как бы нехотя ломающегося дерева. Глухой, обвальный, с земной дрожью удар.

Из дыры мягко пахнуло в наши лица застойной промозглостью, будто из гнилого рта дунуло.

Мы с Анютой ошеломленно поднялись.

– Шурка!.. – крикнул я, ложась грудью на затоптаный, истолчённый нашими валенками край провала.

Заструился вниз, в пустоту, с тихим шипением ручеёк сухого, пережжённого морозом снежного песка.

– Что? – быстро, испуганно спросила Анюта. – Что там?

– Шурка-а! – снова крикнул я в эту ставшую вдруг ужасающе, неправдоподобно безмолвной пустоту.

Снова никакого отзвука.

Перехватив её тревожно-недоумевающий взгляд, я, не зная что сказать, боясь сказать, суетливо повернулся ногами к дыре, нащупал носком, как это делал Шурка, сучкастый, косо уходящий вниз горбыль, пробормотал сбивчиво:

– Сиди тут... я не знаю, я это...

– Толик, куда?!

– Да сиди ты, я сейчас...

Пока глаза мои с яркого солнечного света не обвыкли в полумраке, я раза три наткнулся на стойки вытянутыми перед собой ладонями.

Всё неузнаваемо, враждебно.

Наметённый снег, натоптанные белые следы на чёрной земле.

Впереди слабо, нереально струится абсолютно непроглядное пятно света.

Откуда свет? Угол этот всегда тонул в зыбкой темени – даже редкие щели отдушин здесь забиты, залеплены снегом.

Пробираясь вперёд, я всё порывался крикнуть, позвать Шурку, но страх не услышать вновь ответа перехватывал мне горло, сбивал дыхание.

Проклятые очки почему-то всегда мутнеют в самый неподходящий момент.

Нет, это не очки, это оседает на лицо взвихрённая, мелкая, как порошок, изморозь.

Я замер, оцепенел.

Там, куда упирался косой непроглядный столб света, щедро льющийся в полширины крыши, громоздилась гора чего-то дикого, бесформенного....

Мешанина смёрзшейся земли, кусков грязного, залипшего прошлогодней травой льда и спрессованного снега, обломки расщеплённого дерева.

– Шурка!... – слабо позвал я.

Прошелестела мелкая осыпь, скрипнула какая-то перекладина.

Сперва я увидел валяющуюся шапку.

Эта с задранными ушами и узловатыми завязками шапка приковала меня.

Только долгое мгновение спустя, цепенея глазами, увидел я Шурку; увидел прошитую корнями трав глыбу красного глинозёма. Глыба угрюмо и равнодушно посверкивала на изломе ледяными блёстками...

Всхлипывая от усилий, я ухватился обеими руками за изломистый край пласта.

Я не мог смотреть на Шурку, на его неестественно повёрнутое щекой кверху лицо, всё в крупных каплях от запорошившего и растаявшего снега, на слабо пузырящуюся в углах рта кровь.

Пальцы мои оборвались. Я с ужасом ощутил тупую, каменную неподъёмность глыбы...

Эта минута беспомощности и осознания ничтожности своих сил перед тупой силой равнодушия потрясёт меня, станет на многие годы питать кошмары моих снов, превратится в болезнь памяти...

Не раз потом, столкнувшись со сложностью какой-нибудь жизненной проблемы, я малодушно отступлю, охваченный смятением, как бы заранее смиряясь с её неподъёмностью.

И сколько же уйдёт душевных сил, времени на то, чтобы избавиться от этой тяжкой, изнурительной, никакими докторами не определимой болезни...

Плача бежал я по бесконечному мраку хранилища, пока не ударился о наглухо заколоченные двери. Очки мои хрустнули, переломились в переносье, упали.

Я исступлённо, уже не соображая ничего, ничего не видя, стал колотить в намертво забитые двери, кричать что-то при этом, давясь от слёз – и вдруг всё померкло.

А наверху, стоя коленками на заснеженном краю провала с нелепо болтающейся на шее муфтой, Анюта, уже догадываясь о беде и не веря в неё, звала вниз, в пустоту:

– Мальчики, миленькие, что случилось?! Мальчики, миленькие, что?!

24

ВЕСНА

Несколько дней я провалялся дома в постели с сильнейшим нервным потрясением. Больше частью то спал, то пребывал на зыбкой грани сна и бессонницы.

Когда бабушка, или мама, или сестра Тоня наклонялись надо мной, что-то спрашивая, я смотрел на их затуманенные лица, ничего не отвечал, и им казалось: я их не понимаю или просто не слышу.

Но я прекрасно и слышал, и понимал. Только всё, что у меня спрашивали, казалось мне таким незначительным, пустяковым, что ответ не стоил затраченных на него усилий.

Один раз пришёл Кузя Шишигин, принёс кулёк слипшихся конфет-подушечек, что-то рассказывал взахлёб, размахивая, как всегда, руками, — я не шибко вслушивался — какую-то ерунду.

Дважды была Аня. При взгляде на неё мной овладевало состояние человека, который мучительно вспоминает и никак не может вспомнить что-то важное, сию минуту необходимое. Аня, испуганная, уходила.

Потом я стал потихоньку подыматься, подходить к окну. Мне починили очки, одно стёклышко оказалось с трещинкой, но это мешало не очень, и то только первое время.

Вскоре я смог выйти на улицу.

Был уже март, солнце светило всюду, но тепла прибавлялось скупно. Снег стремительно съезживался в сугробах, чернел от накопившейся за зиму и теперь оседавшей копоти, ручьи не звенели, снег просто высыхал, оголяя лбы пригорков, крыши стаек и ларей, куда дворовая, вечно крикливая мелкотня уже перенесла все свои игры и сборища.

Металлургический комбинат вдали продолжал дымить, и погромыхивать, и гудеть, и взблескивать пламенем, видимым даже в самый солнечный день. Белый, алебастрово-плотный клуб пара, время от времени кругло взлетая над горбами кауперов, кидал на город тень, как настоящее облако, и из него, как из облака, тихо оседала тошнотно пахнущая коксом морось.

Берёзовая роща тоже всё больше рыжела, истончала вуаль ветвей; и колонии гнёзд, похожих на раздёрганные клубки шерсти, и вороный карк над ними придавали ей вид деловой озабоченности, суеты. Ничего не попишешь, весна...

Словом, всё было, как говаривал Кузя, обнакавенно, я потихоньку, день за днём, возвращался к прежним своим ощущениям жизни.

Вскоре я снова ходил в школу на занятия. Только не напрямки, через пустырь и рощу, а по низовой дороге, раскисающей уже в полдень,

а к утру снова твердеющей в панцире льда и глины.

Однажды я брал в своей стайке уголь. То был уголь Баздыревых, им привезли из паровозно-вагонного депо двести килограммов и высыпать который некуда было, ларь давно порубили на дрова.

Я взвалил на себя обязанность протапливать печь в квартире Баздыревых, потому что тётя Галя слегла и не подымалась. Нюсю забрала к себе тётя Каля, которая месяц спустя, выискивая на оттаявшем поле прошлогоднюю картошку, провалится в шахтную выработку и тоже сляжет. Нюсю, бедную, как эстафетную палочку, примет наша бабушка, Наталья Демидовна.

Когда я, насыпав ведро, уже запираю стайку, заметил: к нашему одинокому дому поднимается человек. В матерчатой шапке-ушанке и полушубке, по-военному туго перепоясанном широким командирским ремнём, с португеей через плечо. За спиной полупустой вещмешок защитного цвета. На плечах полушубка — погоны: их я живую ещё не видел. Погоны армейские вместо петлиц ввели совсем недавно, и в глубоко тыловом городе они были новинкой (школьный военрук отвёл знакомству с новыми знаками отличия нашей армии специальный урок).

Что-то в облике военного, в его осадистых плечах показалось мне знакомым. Я не успел рассмотреть как следует. Военный, не останавливаясь, никого ни о чём не спрашивая, исчез в нашем подъезде.

Ёлкин пень, к кому?!

Дверь на лестничную площадку из квартиры Баздыревых оказалась чуть приоткрытой. Странно, я сам несколько минут назад крепко захлопнул её.

Вошёл я, стараясь не греметь, не топтать, чтобы меньше тревожить тётю Галю.

Впрочем, она всегда лежала лицом к стене, ничего не слышала, не хотела слышать, хоть зашумись. Тётя Каля, навещая её, ставила еду в изголовье на табурет, еда часто оставалась нетронутой.

Проходя с углём на кухню, я внезапно увидел сквозь дверной проём широкую спину военного.

Тот стоял посреди комнаты, ничего не говоря, не двигаясь. Даже не сняв шапки.

Я скособоченно застыл с тяжеленным ведром в руке. Лишь тут я узнал, скорее догадался: ёлки, это же сам Баздырев!

Баздырев стоял, смотрел на лежащую в постели, укрытую одеялом до горла жену, на её затылок в слежавшихся, скомканных волосах.

От его ли тяжкого взгляда или от внезапной тишины, воцарившейся после грузных шагов вошедшего в комнату взрослого, она медленно перекатила голову, повернулась лицом.

Несколько мгновений она как бы выходила, выдиралась из состояния мучительного забытия.

И вдруг в расширившихся глазах её плеснулось смятение.

Она опёрлась на локоть, с болезненной неловкостью напрягая шею.

Голова её затряслась, осыпая на лоб, на щеку длинные плети волос.

Не сводя взгляда с мужа, она усилием встала, медленно села на постели, уронив ноги в сползших до щиколоток чулках, сжав, судорожно скомкав у горла сукно одеяла.

Баздырев молчал.

Она, уже безвольная, почти не веря в его реальность, соскользнула с постели на пол и поползла к нему на коленях — под казнь его жестокого, несправедливого молчания.

Одеяло, зацепившись за её плечо, тащилось следом.

Она припала к его сапогам, к его коленям лицом и вдруг захрипела, не имея уже сил вытолкнуть из груди душивший её стон...

Сцена эта, невольным свидетелем которой я оказался, потрясла моё мальчишечье сердце.

Ошеломлённый, я не помнил, как снова очутился на площадке, продолжая держать в онемевшей уже руке ведро с углем.

Тут я долго колебался: куда теперь чёртов уголь? Этот вопрос в сию минуту казался мне самым неотложным: обратно в стайку или уж затащить к себе на второй этаж?

Зайти в квартиру Баздыревых снова — после всего, что я видел, — нет, сейчас меня сделать это не заставит никакая сила.

И пока я малодушно так стоял, топтался на площадке, дверь распахнулась, вышел Баздырев — как был одетый, в перетянутом ремнём полушубке, только теперь без вещевого солдатского мешка на плече.

Он не выразил удивления, столкнувшись со мной, ничего не спросил, не сказал мне «здравствуй». Может, он просто забыл меня?

Он только грузно, расслабленно навалился грудью на перила, стал прикуривать тощую папиросу, предварительно с хрустом покатав её в пальцах.

А я стоял и смотрел исподлобья на его погоны и звёздочки: их было на каждом погоне по четыре. Кажется, капитан...

Только закурив, затянувшись глубоко несколько раз и с шумом выпустив дым из небригетых щёк, Баздырев проговорил глухо:

— Слушай, парень, проводи-ка меня к нему...

25

ШУРКИН ХОЛМИК

Поднявшись по косогору, мы вышли на тракт, по обе стороны его начались домики частного сектора.

Во многих местах гравий вытаял, текли по колеям мутные струйки. Навстречу тяжело шагла лошадь, запряженная в сани. Полозья скрипели, попадая на гравий. В санях сидели бородастый дед и женщина, растерянно вытянув на отводы саней ноги в толстых валенках: по-видимому, ехали из таёжного далека.

Я оглянулся на этих чудиков и неожиданно увидел далеко позади Анюту. На ней был красный вязаный капор. Она шла явно за нами, но не приближалась к нам. Анюта не знала Баздырева-старшего, видела его первый раз, значит, кто-то ей про него уже рассказал. Зачем она-то увязалась?

Ладно, подумал я, что же теперь, пусть...

Потом улица кончилась. Тракт нырнул в широкий лог, в котором единственной постройкой была будочка станции подземной вентиляции. Огромная зарешеченная труба гудом гудела на весь лог, загоняя глубоко в шахту воздух.

Тут только Баздырев обратил внимание на спешащую следом одинокую девочку в красном капоре и понял: не случайная попутчица. Он спросил меня: кто такая?

Это были его первые за всю длинную, невыносимо тягостную для меня дорогу слова. Я даже слегка вздрогнул и пробормотал, что это, мол, Анюта, эвакуированная... что мы... что она дружила с Шуркой.

На выходе из лога, на взгорке, топорщился редкий сосняк вперемешку с голенастым, изросшим в тесноте осинником. По взгорку, вдоль леска, лежало кладбище. Оно прирастало с другой, противоположной от города стороны, взбираясь

всё выше, к самому гребню. Так что волей-неволей надо проходить его из конца в конец.

Отдельно от общих рядов тянулся ровный, со стандартными пирамидками из сварного железа, ряд могил. Здесь хоронили умерших от ран в военных госпиталях города.

Ряд этот заканчивался четырьмя или пятью свежевыкопанными ямами, заготовленными явно впрок, из крайней из них взлетали лопаты земли, самих копальщиков не видно было.

Меня, мальчишку, поразила простая, в сущности, мысль: раненые ещё живут, может быть, даже ходят, щурятся на весеннее солнце, пишут или диктуют письма родным и близким, стонут ночами от боли, а могилы для них уже вырыты. Дико и нелепо, противоестественно...

Шуркина могилка как бы в подножии этого сурового ряда. Место, я сейчас понимаю, хорошее, высокое.

Угловатый неогороженный холмик уже совсем вытаял из-под снега, да, кажется, его много и не успело нападать. По крайней мере, когда меня сюда после болезни приводила Аня, снег только слегка испестрил землю, и на фанерном некрашеном конусе, на еловом сплюснутом венке блестели ледяные продолговатые наросты.

Я остановился, показал молча кивком головы: вот.

Баздырев тоже остановился, потом опустил мне руку на плечо, сжал, оттолкнув меня при этом:

– Ладно, всё. Теперь уйди.

Я торопливо, растерянно зашагал назад, стараясь не оглядываться, пока не столкнулся с нерешительно шедшей навстречу Аней. Она, кажется, спросила что-то. Я молчал.

– Что ли оглох? – она дёрнула меня за рукав. – Чего он тебе сказал?

– Ничего, – буркнул я.

– Нет, сказал, сказал.

Я смотрел мимо Ани. Плечо моё ныло. Точно Баздырев не оттолкнул слегка, а ударил.

Я не выдержал, оглянулся. Баздырев стоял без шапки, почти заслонив собой бедный холмик.

Просто стоял и смотрел себе под ноги.

И ещё я – мальчишка – подумал тогда, что и в этом холмике – в нём особенно! – тоже что-то противоестественное, чудовищное по своей нелепости. С чем ни мириться, ни даже признавать как реально свершившееся – нельзя.

Но вот же: краснеют свежей глиной прямоугольнички ям, ждут своей неотвратимой дани, и стоит с обнажённой головой капитан, фронтвик, в мясорубке войны переживший своего тринадцатилетнего сына...

